

Нам — 85!

ISSN 0012-6756



**Дружба  
народов**

**1/2024**



**«Дружбе народов» — 85! Во все времена журнал работал и стремится работать на узнавание, понимание, добрососедство, сотрудничество, творческое развитие национальных культур на евразийском пространстве, сохраняя верность заложенной в названии жизнеутверждающей идее. В юбилейном году мы продолжим знакомить читателей с теми, кто создаёт современную литературу, и будем вспоминать замечательные имена и яркие страницы журнала минувших лет.**

## **В номере:**

### **«Колея эта — только моя»**

*«Я Гамлет, я насилье презирал./ Я наплевал на датскую корону,/ но в их глазах — за трон я глотку рвал/ и убивал соперника по трону./ Но гениальный всплеск похож на бред./ В рожденье смерть проглядывает косо./ А мы всё ставим каверзный ответ/ и не находим нужного вопроса...»*  
*В рубрике «Золотые страницы "ДН"» — стихи Владимира ВЫСОЦКОГО. «Высоцкий страстно, по-мальчишески мечтал напечататься, — подчёркивал, предваряя публикацию, Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. — Подобранные здесь стихи — не обычные литературные произведения. Перед вами куски жизни и судьбы Владимира Высоцкого».*

### **Проблески счастья**

*Повесть Арсения ГОНЧУКОВА «Над городом Горьким» — повесть и об отце, и о трудном, жёстком и во многом наивном времени, получившем название «перестройка», о времени взросления на фоне всеобщего слома, вселенской обиды, непонимания и позднейшего сожаления. «Поговорить об обоюдных желаниях они с отцом не могли, между ними как будто стояла тяжёлая непробиваемая стена — неловкости, самолюбия, неумения открываться, быть нежным, выражать чувства. Раскрыться навстречу близкому, любимому и бесконечно любящему человеку (чем сильнее — тем труднее), казалось самым невозможным на свете поступком. И это была их общая роковая ошибка...»*

### **«...на свет игрушки ёлочной в окне»**

*«Когда глядит молчащий человек/ в своё окно на падающий снег,/ то он не одинок на белом свете...»* Стихи Сергея ПАГЫНА настраивают на новогодний лад, и в эти особенные дни остро чувствуешь, «живя любовью и тоской», как уходит одно Время и приходит другое. Не об этой ли «Цепочке превращений» лирика Владимира САЛИМОНА? Раздумья о «цикличности жизни» не чужды и Евгению ЧИГРИНУ. А молодой поэт Григорий КНЯЗЕВ подмечает, как «Чудом ловят слух и зреньё/ Ощутимо, наяву/ Длинных волн сердцебиенья...»

### **Круг чтения: имена и книги**

*«... Иногда кажется, когда читаешь мировые новости, что сейчас историю пишет какой-то захудалый писатель, не умеющий сводить концы с концами, допускающий провисание сюжетных линий в пределах десяти страниц, не мотивирующий поступки героев». Литературные критики подводят итоги года и советуют, что стоит прочитать.*

# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

## *Редакционная коллегия*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail:** [dn52@mail.ru](mailto:dn52@mail.ru),  
**Сайт журнала:**  
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в АО «Первая образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.**

Сдано в набор 20.11.2023.  
Подписано в печать 20.12.2023.  
Формат бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ . Цена свободная.

*Главный редактор* Сергей  
НАДЕЕВ  
Леонид  
БАХНОВ  
Ирина  
ДОРНИНА

*Ответственный секретарь* Елена  
ЖИРНОВА

*Первый заместитель главного редактора* Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА  
Владимир  
МЕДВЕДЕВ

*Заместитель главного редактора* Александр  
СНЕГИРЕВ

## *Редакционный совет*

Мария  
АНУФРИЕВА  
Сухбат  
АФЛАТУНИ  
Муса  
АХМАДОВ  
Ольга  
БАЛЛА  
Дмитрий  
БИРМАН  
Ольга  
БРЕЙНИНГЕР  
Денис  
ГУЦКО  
Фарид  
НАГИМ  
Илья  
ОДЕГОВ  
Валерия  
ПУСТОВАЯ  
Ренат  
ХАРИС  
Александр  
ЧАНЦЕВ  
ЭЛЬЧИН



16+

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ПАГЫН. Зима в провинции огромна. <i>Стихи</i> .....	3
Арсений ГОНЧУКОВ. Над городом Горьким. <i>Повесть</i> .....	7
Владимир САЛИМОН. Цепочка превращений. <i>Стихи</i> .....	49
Александр КИРОВ. Где-то рядом Карма. <i>Рассказы</i> .....	54
Андрей ВОЛОС. Рассказы .....	78
Евгений ЧИГРИН. Машина-сердце. <i>Стихи</i> .....	100
Алексей КОЛЕСНИКОВ. Мой первый, второй, третий и последующие обстрелы. <i>Рассказ</i> .....	104
Валерий РЫЖЕНКО. Мимолёт. <i>Рассказ</i> .....	135
Григорий КНЯЗЕВ. Длинных волн сердцебиенье. <i>Стихи</i> .....	142

### ПРОЗА. ДОС

Игорь КЛЕХ. Корсо .....	146
-------------------------	-----

### ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»

Владимир ВЫСОЦКИЙ. «Как корабли из песни». <i>Стихи</i> . <i>Вступительное слово Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО</i> .....	172
--	-----

### ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Выемки и выкладки .....	181
---	-----

### НАЦИЯ И МИР

Анна ВОРОПАЕВА. Дальний Восток: стирая границы .....	191
--	-----

### ПУТЕШЕСТВИЯ

Сергей САМСОНОВ. Открытие родины, или Как самка богомола приняла меня за дерево .....	200
--	-----

### ПЕРВЫЕ СТИХИ

Варвара ЗАБОРЦЕВА. О первых рифмах .....	207
Наталья СЫРЦОВА. Первый опыт .....	208

### КРИТИКА

«Я хочу рассказать вам...» <i>Итоги 2023 литературного года подводят критики</i> <i>Ольга БАЛЛА, Мария БУШУЕВА, Борис КУТЕНКОВ, Елена ЛЕПИШЕВА,</i> <i>Александр МАРКОВ, Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, Валерия ПУСТОВАЯ,</i> <i>Елена САФРОНОВА, Аглая ТОПОРОВА, Александр ЧАНЦЕВ, Кирилл ЯМЩИКОВ</i> .....	210
Валерия ПУСТОВАЯ. Чудо тёмное (Эдуард Веркин. «снарк снарк. <i>Книга 1: Чагинск»; «Книга 2: Снег Энциелада»; Анна Старобинец. «Лисьи броды»;</i> <i>Саша Николаенко. «Муравьиный бог: реквием»)</i> .....	235

### БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Все настоящие писатели — в глубине души барсуки .....	259
--	-----

### ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. «А.Т.» — попытка закругления .....	269
--	-----

<b>Summary</b> .....	272
----------------------	-----

*Сергей Пагын*

## Зима в провинции огромна

### *На закате*

Какие бури разрывают небо!  
Какой огонь пылает в вышине!  
А ты идёшь домой на запах хлеба,  
на свет игрушки ёлочной в окне.

И тихо так, как будто бы на свете  
лишь снег земной...  
И веточка во сне  
слегка дрожит, цветёт, не зная смерти,  
в студёном полыхающем огне.

\* \* \*

Пространства всё больше, и строже  
молчанье большое его.  
И бездны заполнить не может  
летающей листвы вещество.

И щебет синичий стихает  
меж голых ветвей без следа,  
когда к ним порой приближает  
внимательный лик пустота.

Так песню, бывает, затянешь,  
хлебнув по дороге вина,  
и тут же замолкнешь, и встанешь —  
такая вокруг тишина,

что голос твой здесь неуместен,  
как в снеге предутреннем гром,  
как лёгкое платье невесты  
за скорбным и длинным столом.

---

*Пагын Сергей Анатольевич* — поэт. Родился в 1969 году в г. Единцы (Молдавия). Окончил филфак Бельцкого пединститута. С 2000 года — главный редактор регионального издания «Норд-инфо». Автор шести книг стихов, в том числе «Просто жизнь» (2017) и «Спасительный каштан» (2022). Дипломант Международного поэтического конкурса им.Н.С.Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2010), лауреат премии «Молодой Петербург» (2011) и журнала «Дружба народов» (2022). Живёт в г. Единцы.

\* \* \*

Бесснежный принял ты январь...  
Ну, вот и жить тебе  
с тоской старинной, словно ларь  
в заброшенной избе,

с бессонным ветром, по дворам  
гуляющим, как пёс,  
с печальной мамой, по утрам  
светящейся от слёз,

от снов, где всех, кто так любим,  
она зовёт с крыльца,  
с неясным, тонким, дорогим  
присутствием отца

среди явлений и вещей  
в натопленном доме.  
Всё тише звон его ключей,  
что отпирают тьму,

и всё светлей его ладонь,  
прозрачнее лицо...  
И зимний сумрачный огонь  
берёт тебя в кольцо,

и ты горишь в горсти земной,  
как в масле горклом нить,  
живя любовью и тоской...  
А чем ещё и жить?!

\* \* \*

Когда глядит молчащий человек  
в своё окно на падающий снег,  
то он не одинок на белом свете.  
И тот, кто — зренье чуткое одно,  
с ним рядом смотрит в зыбкое окно  
как рты снежинкам подставляют дети,

смеясь, галдят, ещё без рукавиц,  
и смахивают капельки с ресниц,  
и лица поднимают в упоенье —  
и кажется, что снег стоит, а ты  
возносишься в объяття высоты.  
Такое вот простое вознесенье.

\* \* \*

Мы с тобой проживём и зимой,  
ведь всё наше по-прежнему с нами.  
Замороженный воздух резной —  
как старинный комод с тайниками.

В этих мреющих нишах ночных,  
в этих ящичках хитрых зеркальных  
столько разных чудес золотых,  
столько всяких вещиц музыкальных.

Лишь рукою тихонько коснись,  
и откинется дверца упруго.  
Вот свисток, в детстве сделанный из  
абрикосовой косточки смуглой.

Ты подуешь в него — полыхнёт  
настороженный иней на стенах.  
И детсадовский полдень войдёт  
в сердце дикой зимы неизменной

безоглядно, светло, налегке...  
А пока мне угадывать сладко:  
льдистый жёлудь в твоём кулаке  
иль цветочная муха-журчалка?

\* \* \*

Зима в провинции огромна,  
у края города, когда  
в давно не крашенные окна  
глазеет жадно высота.

Ещё не время снежной манны,  
и рот чернеет пустоты.  
Не затмевает свет фонарный  
мерцанья близкого звезды.

А утром — иней, птичья склока  
среди сияющих ветвей.  
Горят шипы чертополоха,  
став за ночь толще и длинней.

И он как буквица — оттуда,  
из книги стародавних зим...  
И бытия земного чудо  
дыханьем полнится твоим.

\* \* \*

Дерево заглядывает в дом.  
Видит человека за столом,  
он сидит, упёршись взглядом в стенку...

Дерево выходит за края,  
за пределы инобытия,  
и в окно протягивает ветку.

\* \* \*

Я видел сад заснеженный, и в нём  
печальных женщин в платьях разноцветных,  
в молчанье собирающих плоды.

Простоволосы,  
пот на тонких лицах —  
не знал, что мёртвым от мороза жарко.

И молодая бабушка моя  
в бордовом платье в блёстках золотистых  
мне яблоко горящее несла  
по полю  
через снег неодолимый.

\* \* \*

Человек появляется на холме  
среди скирд кукурузных — ведь дело идёт к зиме.  
И пока он машет рукой с холма,  
происходит зима.

Вырастает иней — уколы его легки,  
засыпает снегом русло сухой реки...  
И пока мы смотрим и машем ему в ответ,  
происходит  
свет.

\* \* \*

Зима тебя стеною обнесёт —  
молчанием прозрачным, словно лёд,  
его потрогать можешь ты руками.  
За ним, по-рыбы открывая рты,  
слова глядят из пресной темноты,  
тончайшими мерца плавниками.

Но всё порой смещается окрест —  
дома, деревья, вещи сходят с мест,  
молчание по кругу разбивая,  
и снова ты трепещешь и горишь,  
и говоришь,  
и всё же говоришь,  
для мёртвых и живущих воскресая.



*Арсений Гончуков*

## Над городом Горьким

*Повесть*

*Памяти моего отца*

*Все места и здания реальны. Даже если их сегодня не существует*

Площадь с круговым движением напоминала сплюснутую с боков пластинку. Машины, мотоциклы, грузовики — вечный двигатель города крутился без подзавода. В центре площади заброшенные клумбы, их давно забили размашистые сорняки. Здесь, посреди стремительной неостановимой дороги, островок девственных джунглей, куда не ступала нога человека. Вокруг острова светлячками кружатся зелёные огоньки такси — лампочки за ветровыми стёклами на жёлтых «Волгах».

«Взять бы такси и уехать, — подумал Лусканов и сразу вспомнил: — У меня своё “такси”! Где Игорь? Я же сказал, что сегодня задерживаться не буду...»

Он стоял на площади Лядова, там, где машины вылетают из раскрученной пращи кольца на Окский съезд, чтобы дальше падать по склону вниз, к Молитовскому мосту через Волгу, что оmyвает широкий бок Канавинского района.

За спиной Лусканова высилось серо-чёрное здание, какие строили в советское время в качестве, как бы сегодня сказали, офисных центров. Огромные панорамные окна с алюминиевыми рамами, длинные устланные линолеумом «под паркет» (а иногда и на паркет, и тогда чувствовался пыльный запах старого дерева) коридоры, в стенах которых темнели деревянные или перетянутые кожзамом двери. В конце коридоров выстуженные туалеты в белую клетку кафеля и из-за находящейся в вечном движении улицы завешенное, будто тюлем, серой пылью окно. Между этажами задумчиво ныли и со скрипом потягивались умственно-отсталые лифты. С лестничной клетки в середине коридора дул сквозняк, двери там неизменно настезь — доводчики советского производства болтались над головой ножками саранчи.

---

*Гончуков Арсений Михайлович* — писатель, поэт, режиссёр, продюсер. Родился в Нижнем Новгороде в 1979 году. Окончил университет по специальности филология и Школу кино при Высшей школе экономики. Лауреат, обладатель наград российских и международных кинофестивалей. Автор двух книг, в том числе поэтического сборника «Отчаянное рождество» (2006) и романа в новеллах «Доказательство человека» (2023). Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 1.

Просторный и прохладный кабинет директора Владимира Михайловича Лусканова располагался на седьмом этаже, который весь был отдан УПТК «Нижегородстройресурс». Пятнадцать лет Лусканов проработал в местной структуре Минстроя СССР главным инженером, снабженцем, обеспечивающим многочисленные горьковские, а потом и нижегородские стройки строительными материалами. Сотни наименований, всё, что было утверждено Госпланом СССР для стройки, баржами, фурами и эшелонами из всех регионов и республик проходило через руки Лусканова, его феноменальную голову, умеющую запоминать тысячи цифр и сотни контактов, — и всё это во времена, когда основными инструментами руководителей были ручка, карандаш, бумага и телефон с ребристой тяжёлой трубкой на пружинном проводе. Владимихалыча знали по всему Союзу, а весь Союз «до самых до окраин» знала его рыжая кожаная с жёлтыми латунными уголками, похожая на обмылок, записная книжка — потёртая, разбухшая, бездонная.

Десять минут назад закончился рабочий день, потемневшие медные стрелки на настольных часах незаметно пришли в нужное положение, вытянувшись солдатиком — одна вверху, другая внизу, — и Лусканов вышел из здания, чтобы сесть в служебную серую «Волгу» с округлой мордой и квадратными фарами, но водителя Игоря не было.

Посмотреть на Лусканова со стороны, его образ, повадки — советское время не кончилось, Союз не распался. Серый неброский пиджак, остроносые ботинки, всё нестарое, чистое, ухоженное, но форм неидеальных, фабричных, наших. Брюки с наутюженными стрелками из-за сидения целый день в кресле покрылись лучами складок, лёгкая чёрная водолазка, схватывающая шею плотным кольцом и создающая пьедестал для головы, начала едва заметно пахнуть потом, чего аккуратный и чистоплотный Владимир Михайлович не терпел.

Большеголовую, с долгим туловищем, небольшим животиком и короткими ногами фигуру своего пятидесятилетнего шефа, деловито-собранный стоящего у дороги, водитель Игорь заметил издали, Лусканова он замечал даже боковым зрением, да хоть затылком. Но сигналить не стал, этих «окриков» начальник не любил. Подъехал, остановился. Владимир Михайлович сел, привычным движением бросил большую кожаную папку на заднее сиденье, кивнул и басовито, но очень тихо, почти неслышно, сказал: «Домой».

«Волга» взрыла густо и глухо, с лёгким металлическим дребезжанием, и они поскользили по площади на разворот. Жил Владимир Михайлович в престижной верхней части города в Печёрах в новом доме три дробь один по улице Фруктовой.

Когда он лёг на неё и она податливо приподняла и раздвинула ноги, и косточками таза он, худой и тонкий, упёрся в мякоть внутренних сторон её бёдер, и она положила ладони на его стриженный затылок, и с нажимом провела вверх, он возбудился сразу, сильно, и всё случилось быстро, бурно, только судорога потрянула его... Медленно просыпаясь, как будто волна сна откатывалась и возвращалась в море, оставляя его лежать на песке начинающегося дня, Саня вспоминал их близость накануне и Настины руки на затылке — надо же, простое её прикосновение выжгло ему мозги.

Поставил выхоленные пододеяльным теплом ноги на блестящий лебяжий линолеум и невольно вздрогнул: за окном синевой наливались осенние сумерки, день заканчивался, он проспал всё, что мог! Саня вздохнул и упал на кровать снова — спешить было уже некуда. Но через пару секунд понял, что зверски голоден. Толкнул диван локтями в под дых, вскочил на ноги и застучал голыми пятками, как культами, по коридору. На кухне щёлкнула забралом хлебница, звонко громыхнул доспехами

выдвижной ящик с ложками-вилками, чмокнул холодильник, чиркнула спичка, предвещая чайник, а потом и крепкий пересладкий чай, как он любил.

Обжигая губы, запивая неряшливый бутерброд с пахнущим салом желтоватым маргарином, Саня вдруг увидел в окне себя. Снаружи стемнело, а здесь, на табуретке, сидел сутулый, худой, хоть и с некоторым бицепсом, восемнадцатилетний пацан. Саня напоминал белую гипсовую статую, которая за день устала стоять в парке и решила присесть в сумерках чего-нибудь пожевать.

— *Так* ты с отцом разговариваешь? — сказал он после паузы, тщательно прожевав мясо.

— *Как* я с тобой разговариваю?

— А вот *так!* — и отец стукнул обглоданной, высосанной костью о тарелку, отодвинул её и откинулся на кухонный угловой диванчик.

Больше они не говорили. Отяжелевший от доброй половины кастрюли холодных щей с мясом Владимир Михалыч уставился в окно, занятый своими мыслями. Саня чай не допил, но сделал вид, что в чашке пусто, небрежно отставил её и вышел.

Надо было забрать еду в комнату. Идея ужинать на кухне, когда отец пришёл с работы, была плохой. Мать всегда говорила, отец как хищник, любит есть один, не надо ему мешать.

Не то чтобы они постоянно ссорились и воевали, так, переругивались. Горьковатый запах недовольства друг другом — будто в духовке начал подгорать пирог. Так бывает, когда у близких людей есть конкретные ожидания друг от друга, но они не могут сбыться.

Отец хотел, чтобы сын становился серьёзней, чтобы начинал думать о будущем, потому что следующим летом поступать, но куда поступать? Отец хотел, чтобы сын определился с вузом, и в тайне ждал, когда Саня обратится к нему за помощью, например, за деньгами на подготовительные курсы, и тогда бы они сели, всё обсудили... И отец порекомендовал бы, куда бы он хотел, чтобы сын поступил, что ему бы подошло с точки зрения жизненных перспектив. Тут надо всё-таки знать жизнь. Иметь на неё расчёт. Чем заниматься? Кем работать? Чего добиваться? «Пойми, кем ты будешь через двадцать лет, — закладываешь ты это сегодня, буквально сейчас, в эти конкретные дни», — фраза, которую отец приготовил родному сыну, отчётливо звучала в его голове. Но вместо идиллической картины у Лусканова сложилось ощущение, что Сане ничего не надо, думать он ни о чём не хочет, а к отцу не обращается, потому что его в грош не ставит... «И что с ним будет? Да наплевать! Ему наплевать — мне тем более!» — повторял Лусканов в сердцах. Хотя, конечно, это была неправда.

У Сани обида была другая. Он шёл в последний, одиннадцатый, класс и, действительно, давно пора было планировать поступление, потому что — и Саня об этом беспокоился — где-то учиться нужно. Но где? Сане никакие варианты не нравились. Ни на что не вспыхивала душа. Хотя в итоге он куда-то поступит, и обязательно будет учиться, и проведёт ещё пять лет за партой (а в вузах тоже парты?), чтобы получить диплом и пойти работать, чтобы кормить себя, семью, чтобы самореализовываться. Как и расчертила жизненные задачи мать, влияние которой на сына было абсолютно. Только куда? Истфак? Филфак? Журфак? Лобач? Пед? А может, иняз на Минина — проезжаешь на автобусе мимо и видишь тонких, хрупких, необычайно дорого и элегантно одетых девочек, которые учат там английский, французский, немецкий, — видимо, дочери (только ли дочери?) дипломатов и бизнесменов,

работающих с зарубежными компаниями. Таких развелось много... А ещё говорят, в этом инязе учился легендарный режиссёр Алексей Балабанов, правда, это было задолго до перестройки... Или — куда? Кем? Может, в Политех? Принять решение Саня не мог, потому что в глубине души неосознанно, вопреки установкам, желал совсем другого, — не просиживать штаны пять лет за учёбой, а чтобы отец ввёл его в то, чем занимается прямо сейчас и за чем будущее страны (Саня чуял, все чуяли!). Горячий, нетерпеливый, он хотел в большой бизнес, он мечтал, чтобы отец начал посвящать его в тонкости коммерческого (теперь уже!) строительного снабжения, которым занималось УПТК «Нижегородстройресурс». Но почему-то отец даже не рассматривал этот вариант. Не из-за слепоты или невнимательности к сыну. Просто Лусканов, кажется, даже не осознавал, что занимается бизнесом. Он всю жизнь служил советскому народу, государству, а не себе. Отец не хотел делать из сына предпринимателя. Да и сам, похоже, не собирался им становиться.

Что это было — прихоть, протест, гордыня или страх перед новым миром, — осталось навсегда тайной. И роковой ошибкой отца, сведшей его в могилу, — так всю жизнь думал сын.

Вопреки материным наставлениям Саня не понимал, зачем ему идти в институт на какой-то филфак, читать пыльных и таких далёких от сегодняшнего дня Гомера и Сумарокова, когда в стране, вдруг ставшей Российской Федерацией, повсеместно открываются фирмы, конторы, «ооошки», а пацаны становятся *фирмачами, коммерсами*, директорами и президентами компаний, бросая под свежепозолоченными вывесками *офисов* подержанные, но такие желанные мерсы, ауди и особенно угрюмо-злые, с двойными фарами, «бэхи». Двадцати-тридцатилетние, как в бабочек, превращались в нуворишей, становились «новыми русскими», хозяевами жизни, всеильными воротилами бизнесов или коммерсами помельче — владельцами рынков, ларьков, палаток. У них были деньги, власть, дело, а значит, и уважение, но главное — широкая магистраль жизни впереди, да что там, взлётная полоса! Время было такое оголтелое, казалось, можно всё, воздух свободы пьянил, сводил с ума, смешиваясь с кислотканевым запахом баксов, духом ночных ресторанов, девочек в юбках не шире пояса, короче — бесконечного счастья.

Нет, Саня был скромным, приличным сыночком из интеллигентной семьи, где голубенькие томики собрания сочинений Чехова были пухлыми от частого чтения. Он не хотел только быстрых денег или непременно стать директором, он сознавал, что путь непрост, и — обратную сторону быстрых успехов эпохи — бандитов в малиновых пиджаках с толстыми золотыми цепями на выях, как и отец с матерью, терпеть не мог. Саня только не понимал, почему родной отец не хочет передать ему «дело всей жизни», научить, взять к себе, ну хотя бы попытаться... Возможно, к противоречивому желанию сына примешивалась острая и хорошо скрываемая потребность в отцовской любви. И ещё — неужели отец считает его за пустое место, почему не хочет и мысли допустить, что они могут быть на равных? Когда-нибудь. В будущем. А может быть — и партнёрами? Думая об этом, Саня даже спину нервно выпрямлял.

Поговорить об обоюдных желаниях они с отцом не могли, между ними как будто стояла тяжёлая непробиваемая стена — неловкости, самолюбия, неумения открываться, быть нежным, выражать чувства. Раскрыться навстречу близкому, любимому и бесконечно любящему человеку (чем сильнее — тем труднее), казалось самым невозможным на свете поступком. И это была их общая роковая ошибка, думал Саня потом всю жизнь.

— Ма-а-альчики! Вы дома? А я пришла! — сразу после скрипа входной двери послышался звонкий голос мамы. Саня вышел из своей комнаты в длинный коридор, но к матери не пошёл, махнув ей: «Привет!» Сумок у неё тяжёлых не было, а отец ещё на кухне, сейчас будут сидеть и пить кофе. Саня лёг на диван, закрыл глаза. Очень было бы кстати заснуть и проспаться ещё пару суток, но спать не хотелось. Придётся лежать, думать. Думать о жизни.

Лежал, лежал, ничего не придумал. Привычный внутренний вопрос о вузе, как волейбольный мяч, что долетал до сетки, но, будучи слаб, не перескакивал её. Саня хотел снова представить вчерашнее с Настей, запустил руку в трусы, представил литую золотистую внешнюю поверхность девичьего бедра с изящной чашечкой колени, вновь почувствовал Настины пальцы на затылке, а дальше видение не двинулось, застряло, и тут же лёгкая и бесплотная дымка воспоминания начала таять...

Приподнялся на диване, крутанулся, спустил ноги. Посмотрел в окно и вдруг громко и отчётливо произнёс: «Над городом Горьким все ясные зорьки». Услышал свой голос. Тут же расслышал с кухни отцовский басок и смех матери. Слова старой песни, пойманной у ларька, где он вчера полчаса дождался Настю, ввелись намертво, хотя успели поднадоесть. «Над го-о-родом Го-о-рьким, где я-я-сные зорьки, в рабочем посёлке подруга живё-ё-т...» — это пелось густым, сладковатым, нежным баритоном, пересыпанным мелкими искрами помех на старой пластинке. Песня цеплялась и чем-то неясным притягивала, какой-то нехитрой печальной загадкой. Устав напевать, первую строчку припева Саня проговаривал сухо, металлически. Это было непривычно, даже забавно. «Над городом. Горьким. Все ясные. Зорьки».

Саня подошёл к окну. Жёлтые, горячие, неровные, как олады, окна дома напротив висели в неразличимой темноте. Пронизанные светом шторы, большие разноцветные люстры, фигуры людей, мелькающих чёрными спичечными тенями в глубине комнат.

Отзвуки разговора отца с матерью с кухни хорошо ложились на картинку перед глазами. На мгновение Сане показалось, что родители там, в доме напротив, — вон они, сидят за столом. А он где-то далеко, наблюдает за ними как будто снизу, из глубины — из тёмной синей толщи океана смотрит на мерцающее на поверхности солнце, его уютный кухонный свет.

— Да-а-а, да-а-а-а, я помню, помню, а ты сам-то помнишь, как Дима ванну, ванну... завалил всю? — мама смеялась, хотя говорила негромко, будто боясь кого-то разбудить в глубине квартиры. — Это было что-то! Володя! Но как он? Откуда это богатство взял?..

— Так мы ж с ним ездили, не помнишь уже? — Володя, как уважительно называла Лусканова жена, сидел сытый, довольный и совсем домашний, даже разругался от весёлых воспоминаний.

— Да помню! Отлично помню! Особенно как я до утра с этими карасями...

— Карп, карп только...

— Да какой до утра! Сутки! До вечера следующего дня! Ты-то с Димой сразу усвистал, а я тут, как в рыбозаготовочном цеху, в мыле, в слизи этой, фу! Как вспомню!

Мама смеялась отрывисто, колокольчиково, отец посмеивался беззвучно, только изредка глухо гыкал.

Дядь-Дим — в произношении маленького Сани был первым и навсегда остался легендарным водителем отца, тогда молодого советского начальника. Широкий, приземистый, крепкий, как пень векового дуба, при этом живой, энергичный,

*Владимир Салимон*

## Цепочка превращений

\* \* \*

Из шума вётел у реки  
узнаешь, что в живой природе  
никто не чахнет от тоски,  
никто не сохнет по свободе.

Как ты да я,  
как мы с тобой.  
Как те же Моцарт и Сальери.  
Как Пушкин и его друзья,  
что не хлопчут о карьере.

Любовь, спасибо и на том,  
не отберёшь и не отсудишь  
у нас неправедным судом.  
И потому —  
ты любишь, любишь.

Всё не насытишься никак —  
жену, детей, родные стены,  
своих друзей,  
вино, табак.  
И жгучий перец из Кайенны.

---

*Салимон Владимир Иванович* — поэт, автор 25 книг стихов. Родился в 1952 году в Москве. Главный редактор журнала «Золотой век» (1991—2001), заместитель главного редактора журнала «Вестник Европы XXI век» (2001—2011). Лауреат Европейской поэтической премии Римской академии (1995), Новой Пушкинской премии (2012), премии «Венец» (2017) и др. Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Москве.

\* \* \*

Как-то всё не так пошло,  
как должно бы по задумке,  
как хотелось, как могло.  
Или близостью чугулки  
объясняется вполне  
боль, сидящая во мне.

Лес стоит столбом, как будто  
в столбняке, стоит вода —  
неподвижна гладь под утро  
деревенского пруда.

Трудно? Трудно! — отвечаю  
сам себе в ночной тиши.  
Или Богу, я не знаю.  
Рядом нету ни души.

Бог смеётся — Неужели? —  
мне напомнив о судьбе  
старика, что еле-еле  
за ослом брёл по тропе.

Ночь темна. Глуха сторонка.  
Шум погони — в двух шагах.  
А жена — ещё девчонка.  
И младенец на руках.

\* \* \*

Ты идёшь, а за спиной  
у тебя не черти пляшут,  
а с опушки мать с женой  
вслед тебе руками машут.

Оглянёшься — вон они!  
Приглядишься — две берёзы.  
Могут быть и в наши дни  
столь досадные курьёзы.

Тут не мистика — любовь  
с нами злые шутки шутит,  
то и дело, вновь и вновь  
крутит-вертит, воду мутит.

Оглянёшься — никого.  
Ничего. Туман ложится.  
Только где-то далеко  
бьёт крылом ночная птица.

\* \* \*

Замкнув цепочку превращений,  
вспорхнула в небо стрекоза.  
Из чащи сада юный гений  
следит за ней во все глаза.

Он жадно ловит цепким взглядом  
взмах каждый стрекозиных крыл,  
он для себя, сокрытый садом,  
мир подлинных чудес открыл.

Быть может, будущий Сикорский  
следит сейчас за стрекозой,  
за бликом света, тенью скользкой,  
мятущейся перед грозой.

Я постараюсь еле слышно,  
едва заметно проскользнуть,  
иль сесть поодаль неподвижно,  
чтоб вдохновенье не спугнуть.

Поскольку ангел вдохновенья  
и боязлив, и трусоват,  
чуть что — бежит без промедленья  
и не торопится назад.

\* \* \*

Возможно ль выразить, бог весть,  
в презренной прозе,  
как, словно кровельная жесьь,  
листва грохочет на морозе?

Как чуть потрескивает лёд  
на окнах,  
звякает посуда,  
когда, открыв буфет, берёт  
старик графин с вином оттуда?

Я знаю — бедность не порок,  
но жить нам хочется богато,  
иль делать вид, коль есть предлог,  
изображать аристократа.

Старик вино нальёт в бокал,  
оставив в сторону гранёный  
стакан, похожий на вокзал  
пустой, огромный, полутёмный.



\* \* \*

Свет погас. Сгорели пробки.  
 Дым пошёл. Пахнуло сажей.  
 Можно вынести за скобки  
 половину жизни нашей.

Утром ранним на скамейке  
 размышленьям предаёшься —  
 мысли всякие, идейки,  
 всякий вздор — не отмахнёшься.

Множество второстепенной  
 и поэзии, и прозы  
 из эпохи довоенной —  
 глупый смех, пустые слёзы.

Отвлечёшься разве только,  
 увидав, как с ветки ели  
 шарит чёрным глазом сойка  
 не без смысла, не без цели.

\* \* \*

Так тихо, что услышать можно,  
 как прорастают семена,  
 как, встав всех раньше, осторожно  
 в сад пробирается жена.

Я сплю. И это всё мне снится.  
 Сад за окном. Жена в саду.  
 Как тщится семя разродиться  
 листком, упавши в борозду.

Оно его рождает в муках,  
 но я, не смысля ничего  
 в сельскохозяйственных науках,  
 предполагаю, что легко.

Стенанья горестные, стоны  
 не слышу я, поскольку сплю.  
 А сны безбрежны и бездонны.  
 Бессмысленны, как жизнь в раю.

\* \* \*

Дивана не было.  
 Сидели  
 на койке.  
 Пенилось вино.  
 Ведь винопитье в самом деле  
 для нас важнее, чем кино.

Тут был не прав, Ульянов-Ленин.  
 Иль так считал другой мудрец?  
 Забыл. Не помню.  
 Не Есенин?  
 Не Блок?  
 Не Пушкин, наконец?

Но помню ясно совершенно  
тот день, как дождь всё лил и лил,  
трещал сверчок самозабвенно,  
пока не выбился из сил.

Свой треск и скрежет полагая  
весёлой песней, что должна  
утешить тех, кому Святая  
Русь — не чужая сторона.

\* \* \*

На него никто вниманья  
не желает обращать —  
он флажок на крыше зданья,  
что забыли поменять.

Что творится непонятно,  
и какая нынче власть —  
красная пришла обратно  
или белая напасть.

Был он красный, стал он белый.  
Ветер треплет. Дождь сечёт.  
Дождь с утра сегодня целый  
день до вечера идёт.

И не в силах разобраться —  
кто мы и куда идём,  
плакать нам, или смеяться,  
осенил я лоб крестом.

\* \* \*

В полдень тени жмутся к дому,  
держатся вблизи кустов.  
Люди чувствуют истому.  
Избегают лишних слов.

Час безличных предложений.  
Мёртвый час. Жара.  
Пыльца  
отцветающих растений,  
словно пудра для лица,

покрывает нос и щёки,  
норовит забиться в нос  
нам при выдохе и вдохе  
и доводит нас до слёз.

Что ж, поплачем.  
Отчего же  
не поплакать нам сейчас.  
Добрый, мудрый, щедрый Боже,  
Ты пошто оставил нас?

*Александр Киров*

## Где-то рядом Карма

*Рассказы*

### *Свар*

Плакал Пашка не потому, что умер дедушка. Вернее, и поэтому тоже. Но больше плакал он потому, что не успел с дедушкой попрощаться. Вернее, что не так с дедушкой попрощался, как следует, когда уезжал в пионерский лагерь.

В лагере Пашку полюбили все. Сначала посмеивались: этакий деревенский увалень. Но когда Пашка лёгким толчком в грудь запустил недоброго обидчика в кусты, смеяться, конечно, не перестали, но издеваться больше не пробовали. А над тем, что над ним посмеиваются, Пашка и сам смеялся. Ростом со средних размеров мужика. С пузом и щеками. Смехом, от которого люди зажимали уши. И несокрушимым аппетитом. Весь отряд собрался смотреть, как Пашка высасывает у рыбы глаза, когда по случаю небывалого клёва их кормили на обед ухой. Пашку это не смутило.

— А вы головы едите? — спросил он у ребят.

И десяток рыбьих голов легли Пашке в тарелку.

А как он играл адмирала в спектакле на день открытых дверей! Правда, там не было слов, но величественный Пашкин профиль передавал всё благородство природы морского полководца. Этого не могло смутить даже то обстоятельство, что посреди номера он, зажав пальцем одну ноздрю, довольно внятно высморкался, предупредительно отвернувшись от зрителей. Чего не простишь морскому волку!

Через два дня Пашку вызвали к начальнику лагеря. Вернулся он угрюмый, чего с ним за смену не бывало. А после расспросов, что там с ним сделали, вдруг заплакал. И плакал до вечера с перерывами. Так ревел, что не мог толком ничего объяснить. И когда молоденькая вожатая сама сказала остальным ребятам, те лишь недоумённо пожали плечами: ну понятно, жалко, но чтобы так из-за деда какого-то...

Дедушка и Пашка дружили. Не понарошку, а по-настоящему. Алексей был Пашкиным дедом со стороны матери. Со стороны отца дедушка тоже был. Бывший

---

*Киров Александр Юрьевич* — прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1978 году в Каргополе Архангельской области. Печатался в журналах «Октябрь», «Знамя» и др. Автор книг повестей и рассказов, в том числе «Митина ноша» (2009), «Последний из миннезингеров» (2011), «Полночь во льдах» (2012), книги литературоведческих эссе «Русские каприччо Бориса Евсеева» (2011). Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Каргополе.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 1.

военный, моряк. Жил он в Мурманске, к детям, как он называл Пашкиных папу и маму, ездить не любил, но их принимал охотно. А вот Пашке через два дня жизни в большом городе становилось тоскливо. И дед был бравый. И квартира у него просторная. И бабушка добрая. И вкусняшками заваливали. И море. И корабли... А вот хотелось домой, в деревню, на речку. К дедушке Алексею.

Дедушка Алексей никаким военным не был. Всю жизнь шоферил. Сначала в колхозе, потом в фермерском хозяйстве. Капиталу не нажил. Разве что старый «Москвич», который раз в год перебирал до винтика и говорил, что агрегату этому сто лет сносу не будет. Человек он был молчаливый, задумчивый. Всё время что-то делал. И дело между мыслями спорилось у него в руках.

То он забор чинит. То мостки делает. То в бане пол меняет. То опять в «Москвиче» ковыряется. А Пашка рядом. Стоит... И дел-то у него, что молоток держать, или топор, или отвёртку — а важности... Правда, Пашке довольно быстро скучно становится просто так стоять. Он сначала дедушку расспросами донимает. Но с дедом разговаривать — дело так себе. Тот больше слушает, кивает, негромко говорит: то подай, это положи, сюда посвети, ага, ага, молодец. И Пашка со скуки начинает здороваться со всеми прохожими. И со всеми разговаривает, и всех слушает, и во всё вникает. Но стоит деду что-то негромко сказать, сразу всё бросает и бежит к деду.

Алексей работает-работает, пот со лба утрёт и скажет: «Всё, Пашка. Надоело. Задолбало. Поехали на рыбалку». И Пашка скачет, и ржёт, и таскает в машину удочки, мешочки, баночки. Причём он знает всё. Спросишь у него: «Паша, зачем вот эта маленькая баночка?» И Пашка ответит, что иногда они с дедушкой рыбачат с берега. И как тогда разойтись в разные стороны на разведку, если все червяки в одной банке. А?

Посмотрит-посмотрит Пашка на любопытствующего, весело подмигнёт и скажет: «Так-то». И пойдёт дальше дедушке помогать.

Уезжают они после обеда, ближе к вечеру. Возвращаются на следующий день к обеду, ближе к утру. Домой не заходят. Начинают пороть-потрошить рыбу. Пашка и здесь знает. Когда чешую сдирать, когда оставлять, если рыбу коптить. Когда головы кошкам-собакам скормить, когда для ухи приберечь. Вот дед-то его и научил у рыбы глаза высасывать. Это, мол, самое вкусное, а если рыба копчёная, и вовсе деликатес.

«И как я теперь буду?» — сам у себя спрашивал Пашка, когда отец вёз его на дедовом «Москвиче» из лагеря домой.

И украдкой, стесняясь, потому что уже взрослый, вытирал накотившуюся слезу.

А распрощались они с дедом как... Алексей бензопилу чистил после работы. Пашка около обеда уезжал, а дед с утра успел машину горбыля на дрова распилить.

— Дед, я поехал! — подбежал к нему Пашка.

— Давай отдохни там, повеселись.

Пашка хотел обнять деда, но тот был в грязной робе и замахал руками.

— Что ты, что ты, перемажешься весь. Давай поезжай, дружок, смена быстро пролетит...

Вот и подъехали они с отцом к тому самому месту, на котором Пашка распрощался с дедом.

Весь день Пашка держался молодцом. Бегал, хохотал, возился с младшим братом. Но вот накатила августовская вечер, схлынула дневная жара, загустел воздух, подёрнулся сначала сумерками, потом темнотой. И так же темно стало на душе у Пашки. А потом из облаков выплыла огромная луна. Такой луны не было никогда

в его десятилетней жизни. И от этой бесстыжей луны стало уж совсем как-то нестерпимо больно.

Родители сидели в детской, у Пашкиного дивана. Пашка рыдал, уткнувшись лицом в подушку.

— Паш, ну будет тебе, — успокаивала его мама, а прикоснуться почему-то боялась.

— Утро вечера мудренее, — рассудил отец.

Родители ушли к себе в спальню, и через минуту раздался тяжёлый отцовский храп. Отец работал сутками напролёт. И семья перебивалась как-то. Только времени на неё у отца не оставалось.

Утром не стало лучше. От Пашки словно отрезали лучшую его часть. И теперь он никчёмным увальнем болтался там, где до этого оправданно существовал рядом с дедом.

Мать пробовала давать ему поручения, да куда там. Пашка путал в магазине ряженку с кефиром, ячку с ячменём. Расплёскивал воду. А когда его попросили переколоть пару поленьев, немедленно тюкнул себе по ноге. Несильно, даже зашивать не пришлось. Но неделю просидел Пашка дома. А дома ведь как. Иногда стены помогают, иногда давят. На Пашку они давили. Он никогда не сидел с дедом дома. Дед словно бы чувствовал, что никогда не умрёт на улице, и поэтому с первыми лучами солнца бежал из дома прочь. Смерть сразила его ночью, во сне. Наверное, он даже не понял, что умер.

Потянулись серые будни обживания после утраты. Скучные, тоскливые, беспробудные. Пашка вдруг понял, что, кроме дедушки, у него нет друзей, что, кроме дел с дедушкой, у него больше нет занятий. Пробовал читать... Но читал Пашка плохо, неохотно. Он не понимал, что там, в книгах, поскольку они были бесконечно далеки от его деревни с тёмными домами, двумя улицами с одним фонарём, злыми цепными собаками и хмурыми мужиками, из которых Пашкин отец единственный не пил.

Пашка слонялся по деревне. И началось то, чего не было при дедушке. Там шуганут, здесь окрысятся, в третьем месте домой отправят. Мешаешь, чего встал, хрен ли вылупился. И Пашка одичал и озлобился и перестал здороваться с людьми. Пробовал подружиться со своей собакой, но она всё лежала в будке, выглядывала наружу, лизала Пашке руку и снова пряталась в конуре. Была Пашкина собака немолода. Дважды её сбивала машина, раз рвали волки. Была она осторожна, ценила жизнь. И не понимала Пашку так же, как Пашка не понимал собаку.

Вот прошла осень, землю прихватило морозом. До снега задубило дорожную грязь, превратив податливые мясистые колеи в подобие горных хребтов. В воздухе закружились белые мухи. Пашка ходил в школу. Это вносило в жизнь разнообразие. Но учительница, хорошая учительница, была бесконечно занята домашними делами, своими детьми, мужем-пьяницей. И в школе не засиживалась. А иногда и вовсе отменяла уроки. И тогда Пашка ходил по двору. Начал было строить из снега горку, но бросил. Да и снег растаял в первую зимнюю распутицу.

А потом ударили морозы под сорок, и заперли Пашку дома. Хотя, если подумать, из дому он уже и не вылезал.

Морозы спали до двадцати, Пашка сходил два дня в школу — и заболел.

— ОРВИ, — пожал плечами фельдшер. — Сезонные изменения в жизни людей.

Пашка температурил неделю. То спал, то просыпался. И ничего нового не обнаруживал в этом мире, когда возвращался в него из темноты. Только однажды он услышал, как отец разговаривает с каким-то гостем. У них дома иногда останавливались

дальние родственники, ехавшие на плохих старых автомобилях из глухой деревни одного района в такую же глухую деревню другого. А зачем? Этого Пашка никак не мог понять.

— ...Сварог-озеро, — говорил незнакомый голос. — Озеро предков... Ни души...

Дальше Пашка не слышал. А дальше ему слышать было и не нужно, потому что, когда он очнулся, ещё больным, но уже на пути к здоровью, в голове его созрел план.

Деревня, в которой жил Пашка, находилась на реке. И к тому, что ребяташки с пяти лет начинали в одиночку или компаниями рыбачить, взрослые относились с пониманием. Развлечений в деревне немного, а тут — и весело, и для дома польза, если повезёт. Пашку на рыбалку и зимой, когда встанет надёжный лёд, отпускали. Рыбалка была в сотне метров от дома. За угол — и вниз по тропинке до лунок. Лёд был такой, что зимой машины через речку ездили. Хороший лёд, надёжный. И рыба клевала. Мужики ставили снасти: уды, сетки, но это если время есть. А некоторые так и на удочку вытаскивали ближе к весне экземпляры окуня, налима, а иногда и судака.

Поэтому, когда Пашка сказал, что собирается на рыбалку, родители даже обрадовались. Был как раз первый день оттепели после сильных морозов. И не холодно, и лёд надёжный, и рыба точно будет клевать.

Собрался Пашка с вечера. Утром отец разбудил его перед тем, как уйти на работу. Пашка позавтракал вместе с мамой. Она ему и пакет с бутербродами в короб сунула, и термос чая с мёдом туда же положила. Бутерброды были особенные, рыбацкие: сало с чесноком. Непривычный человек от такого угощения нос отвернёт, а рыбак знает, что сало силы даёт, когда они заканчиваются, а чеснок с медовым чаем согреется помогают, когда на морозе само нутро захолонёт.

Ещё дед советовал брать с собой что-нибудь сладкое: конфеты любимые или печенье. Когда что-то на морозе не ладится или не дай бог заплутал, нужно успокоиться, порадоваться чему-нибудь, отвлечься — и выбираться, выбираться в привычную колею.

С зимней природой вообще ухо нужно держать востро. Какой бы ни была удачной рыбалка, наступал момент, когда Пашка остро чувствовал, что хочет домой, ведь за красотами природы, азартом и уловом ясно просвечивает вечная мерзлота января, которая может человека радовать, а может искалечить или вообще убить. Держит река рыбака поклёвками, домой не отпускает. А там темнота или мороз резко усилится. Так Пашка однажды и приморозил пальцы на левой руке. Дедушка насилу водкой отгёр. Оттирал и усмехался: «Я один раз на руку себе мочился. На дальней рыбалке прихватило, думал, кранты, а пописал — и ощущения вернулись».

Всё это Пашка вспоминал, выходя за калитку своего дома. Только вот, оглянувшись по сторонам, не видит ли кто, вместо тропинки вниз зашагал он в сторону объездной дороги.

Пашка думал, что его подберут, как в кино, стоит рукой махнуть. Но не тут-то было. Ростом он был со взрослого парня. Вдобавок валенки, тёплая рыбацкая куртка, рукавицы в полруки. А взрослого подбирать никто не торопится, особенно если сам взрослый рукой взмахивает в последний момент. Как будто не решился ещё до конца на какую-то авантюру, которую придумал.

Только через час, когда Пашка протопал уже километра два и вспотел, а небольшой вроде бы рыбацкий бур изрядно оттянул руки, рядом затормозила помятая иномарка, из которой высунулся чернявый парень и махнул рукой.

— Знаю, сам ходил, — коротко объяснил парень широту своего жеста.

Пашка кивнул и вспотел ещё сильнее.

— На Свар? — спросил парень.

Пашка опять кивнул.

— А обратно как?

— Разберёмся, — негромко ответил Пашка.

Парень коротко хохотнул и нажал на газ.

Однако через десять минут пришлось сбавить ход и включить противотуманки, потому что белая дымка окутала дорогу, едва машина въехала в тоннель деревьев.

Через пятнадцать километров парень осторожно остановил машину, включил аварийные огни.

— Ты бывал? — осторожно спросил он у Пашки.

— Неа, — честно признался тот.

— Вот по буранице иди, с неё ни шагу. Дойдёшь до первых лунок... Ну и от них ещё минут пятнадцать. И всё. Дальше не ходи. У тебя часы с собой есть?

Пашка кивнул и показал дедушкин подарок.

— В два часа я буду проезжать мимо. Плюс-минус минут пятнадцать. Выходи к двум. Тут... Неуютно в темноте.

— Хорошо, — сказал Пашка. — Спасибо!

— Давай, рыбак, — хлопнул его по плечу парень и укатил по каким-то неведомым, важным делам.

Пашка посмотрел на часы. Десять утра. За всё про всё четыре часа осталось. Прорвёмся. И сначала осторожно, а потом всё увереннее пошёл по узкой буранице, оставляя за спиной деревья, навстречу белому простору, окутанному туманом.

Уже почти рассвело, над шапкой тумана вставало красное солнце. Но солнце это оставалось у Пашки за спиной и не рассеивало тумана, а только добавляло в него красок: жёлтых и красных. Несмотря на оттепель, бураницу держало утренним морозцем, и Пашка шёл бойко, похрустывая поверхностным ледком, поглядывая вперёд. Сзади раздался шум, Пашка сошёл с дороги. Мимо проехал буран. Мужик, сидевший за рулём, был в балаклаве, как бандит с большой дороги. Второй, сзади, улыбался. И махнул Пашке рукой. Дескать, смелей, рыбачок, вперёд. Пашка вообще замечал, что рыбаки — люди часто неприветливые и даже грубые, как-то преобразуются, когда он рядом с дедушкой. Становятся добрее, лучше. Теперь он понял, что это связано не с дедушкой, а с родом занятий. Как раньше рыбаки признавали своего в дедушке, так теперь они признавали своего в Пашке, раннего и зелёного, но своего.

Минут через десять из тумана появилось деревце. Пашка оторопел. Какое деревце посреди озера? Заплутал он, что ли? Но когда поравнялся с небольшой ольшинкой, понял, в чём дело. Вокруг неё в упругой готовности металлических сторожков с загнутыми к основанию красными флажками застыли жерлицы, вмёрзшие своими пластмассовыми тарелками в лёд и присыпанные сверху снегом. На одной из них сторожок разогнулся и флажок торчал вверх. Леска на катушке была размотана. Скорее всего, хозяина жерлицы под толщей льда терпеливо ждал налим. А то, что Пашка принял за деревце, был ориентир, которые рыбаки выломали на берегу, принесли или привезли на буране с собой и воткнули в ледяную корку.

Дальше бураница раздваивалась. Слева сквозь туман слышались голоса. Наверное, это рыбаки, которые обогнали Пашку, выбирали снасти.

«До первых лунок, — прозвучал в голове голос чернявого парня. — Дальше не ходи». И если бы Пашка отправился на рыбалку, он тут же и стал бы бурить лунку своим маленьким, «карманным», как говорил дедушка, буром. Но отправился Пашка совсем не на рыбалку. И он двинул дальше.

Туман густел. И следующее скопление лунок показалось под ногами внезапно. Лунки располагались хаотично, как будто какой-то великан забавы ради стрелял по льду огромной дробью из гигантского ружья. Здесь жерлиц не было, да и лунки были замёрзшими.

«Неудачное место», — подумал Пашка.

Ещё через пятнадцать минут бураница, сделав петлю, закончилась. Те, кто проложил её, дальше не поехали, развернулись и отправились обратно по своим же следам. Пашка прошёл вперёд метров тридцать. Под ногами хрустнуло. Пашка оглянулся. В его следах выступила вода. Подумав, он снял бур, расправил его и стал сверлить лунку. Просверлив сантиметров тридцать, бросил. Лёд здесь был хорошим, просто сверху выступила вода. А на буране гоняли, скорее всего, городские. Из-под гусеницы брызнуло, испугались, дали дёру.

Прошло ещё полчаса. Показалось солнце. Медленно рассеялся туман. И Пашка увидел то, что представлял себе в болезненном бреду. Людей, которые двигались по ту сторону озера, на другом берегу. Это был как будто другой мир со своими законами тяготения. Рыбаки тоже увидели Пашку и что-то закричали ему, замахали руками. Пашка понял, что дальше идти нельзя, дальше промоины. Остановился и тоже махнул рукой, дескать, вас понял. Рыбаки успокоились и занялись своими делами. А дел у рыбака, на самом деле, очень много. И дела эти разнообразны. Кто-то ехал на мотособаке из пункта А в пункт В. Или на буксировщике: из пункта С в пункт D... Причём существование этих пунктов было известно только рыбакам, и смысл и ценность имело в течение одного сезона, а то и меньше, и только в связи со скоплениями рыбы. Здесь была сорога, а там окунь. Простому смертному сорога понравится больше. Но рыбак... Рыбак всегда пойдёт за хищником, даже если поход этот может стоить ему жизни. Кто-то бурил лунки и сразу садился рыбачить. Кто-то ставил жерлицы, доставая из кана добытых вечером на реке и сделавшихся за ночь полудохлыми живцов. Кто-то, насверлив лунок, ходил от одной к другой и дёргал балансир или зимнюю блесну, выцеливая всё того же хищника.

И только один рыбак продолжал смотреть на Пашку и махать рукой. И тогда Пашка закричал что было мочи:

— Прощай! Прощай, дедушка! Я всегда буду тебя помнить!

А больше Пашка и не знал, что сказать, но своим мальчишеским умом понимал, что на каждую рыбалку в жизни он будет ходить как на свидание с дедом. Наверное, если и есть какая-то рыбацкая тайна, заветное слово, то вот это оно и было. Ходить на озеро не за рыбой, а на суровую мужскую тризну по своим друзьям, которые ушли и живут теперь на той стороне, отделённые от живых непреодолимыми промоинами, в ноздреватом, изъеденном оттепелью льду на границе между жизнью и смертью.

К дороге Пашка вышел в два пятнадцать, сильно уставший, обливаясь уже которым за полдня потом. Парень нервно курил у машины.

— Слава богу, — сказал он. — Я уж думал, надо идти искать. Наловил рыбы?

Пашка улыбнулся и покачал головой. Парень махнул рукой.

По дороге домой молчали. И только у посёлка, когда парень остановил машину и растолкал задремавшего Пашку, тот выдал из себя:

— Спасибо! Спасли.

Парень засмеялся:

— Да это разве спас... Вот на войне... — Тут он осёкся. — В другой раз расскажу.

И раздолбанная иномарка укатила в ночь.

— На озеро ходил? — спросил вечером отец.



Пашка по-взрослому кивнул.

— Дедушку видел?

Пашка снова кивнул:

— Кто подвёз?

— Да на «Логане», чернявый такой.

Отец усмехнулся:

— Блэк. Тот ещё был. А с войны пришёл — тише воды ниже травы.

Пашка видел Блэка ещё раз, через полгода, летом. Блэк был пеш и пьян, и Пашка решил, что обознался.

К тому времени Пашка вытянулся, возмужал и похудел. Был бодр, весел и любил жизнь. И только иногда вспоминал одинокого рыбака с той стороны, махавшего ему рукой. Может быть, конечно, это был и не дедушка, а обычный человек из деревни с той стороны озера. Люди в их краях жили небогатые, были похожи друг на друга и носили одинаковую одежду, напоминающую военную форму.

## Проводы

### 1

К середине лета ощущение беды притупилось и наплывало застарелой хронической болью вместе с редкими новостями.

Лето выдалось жарким, бедовым. Зной, опустившийся на северную землю в июне, так и не отпустил её из цепких своих когтей до конца августа. И уже через неделю-другую земля сама отдавала жар, так что, крутя педали велосипеда по дороге через поле, ты не мог понять, откуда греет, как из печки: сверху или снизу...

В городе срочно создали программу «Лето. Жара!» с бесплатными танцами до упаду. И под музыку девяностых (молодёжь, прямо скажем, на танцы не очень рвалась) два этих слова повторялись иступлённым рефреном. Но в глазах танцующих, даже самых бесшабашных, читалась тревога. И нет-нет да и слышалось: «Хрен его знает...»

В конце августа люди копали картошку в шортах и в купальниках. Такого я не видел никогда за сорок четыре года жизни. Сгорел! В прямо смысле слова — сгорел на борозде. Шею и спину жгло нещадно. Картошку, однако, докопал. А через два дня пришли дожди. И начался учебный год. Похолодало резко. И, бредя по двору под ледяным дождём в утеплённой куртке, я не верил, что ещё позавчера загорал на речке, как на море. Люди сетовали: «Какое же было солнышко, какими мы были счастливыми». В сетевых магазинах на входе набивались подростки. Их ненадолго выгоняли. Они матерились, курили, выпрашивали деньги. И проползали обратно, в грязный липкий предбанник сетевого рая. Взрослые смотрели на них с нескрываемым отвращением.

Потом всё ненадолго выправилось. Начались уроки, продлёнки, кружки. Да и погода к середине сентября стала налаживаться. В колледже заговорили о турслёте. Меня на ту беду подкосила какая-то гадость. Поднялась температура, ночью трясло так, что я стучал зубами. Утром накатила ватная муть. Я уже протянул руку к телефону, чтобы сказать, что не смогу повести группу. Но в последний момент стало совестно. Половина учителей ещё догуливают отпуска, сопровождать и так некому. А тут мужик, умеющий пилить бензопилой и рубить топором, — мало ли дров наколоть для тех, кто лес до шестнадцати лет видел только издалека и на картинках, возьмёт —

---

*Андрей Волос*

## Рассказы

### *Исчез целиком*

— Всё нормально? — спросила жена, выглянув из кухни.

— Нормально, — ответил Гребнёв.

Он прошёл в комнату и бросил на стол конверт, всю дорогу топыривший карман пиджака.

Валя некоторое время молчала, вытирая руки полотенцем.

— Толстый, — сказала она. — И сколько тут?

— Пятнадцать.

— Господи!.. Вот же псих твой Смолычев!

Гребнёв пожал плечами.

— Ты его отговаривал?

— Нет, — хмуро сказал Гребнёв. — Сегодня не отговаривал. В прошлый раз он вообще разозлился. Не хочешь, говорит, и не надо. Типа не друг ты, а портянка... Ну, стал бы я его дальше отговаривать... и что? Опять за рыбу деньги. Надо ему моё занудство слушать... Ладно. Обедать-то будем?

— Ты только теперь не думай, — жалобно попросила она. — Ну что делать, если он такой. Ты же не мог ничего больше. Ты же сделал, что мог, правда? Вот и не думай теперь.

— Не собираюсь я ни о чём думать! — отрезал Гребнёв. — О чём я должен думать? Я ведь его отговаривал. Как мог, отговаривал. А если не отговорил, теперь-то что? Думай не думай, сто рублей не деньги.

— Ну, не сто, конечно, — вздохнула Валя.

Она протянула руку, коснулась конверта. И немного сдвинула, словно чтобы ощутить весомость и увериться в его реальности.

— Ты прибери куда-нибудь, — сказал Гребнёв. — Серёжка сегодня собирался зайти. Не на столе же валяться... Так что, будем обедать-то?

---

*Волос Андрей Германович* — прозаик. Родился в 1955 году в г. Душанбе (Таджикская ССР). Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Член Союза писателей Москвы. Лауреат международной литературной премии «Москва — Пенне» (1998), Государственной премии Российской Федерации за роман «Хуррамабад» (2000), лауреат премий «Русский Букер» и «Студенческий Букер» (2013) за роман «Возвращение в Панджруд» и др. Лауреат премии журнала «Дружба народов».

Предыдущая публикация — роман «Облака перемен» (2023, № 2—3)

\* \* \*

Гребнёв и сам не хотел думать. Не о чем было думать. Есть вещи, о которых думать — только расстраиваться.

Валя давно уснула, а он из опаски лишней раз ворочаться лежал по-покойнически.

На втором часу это стало невыносимо.

Осторожно поднявшись, выбрался из спальни, плотно прикрыл за собой кухонную дверь. Тихо сел за стол, приставив друг к другу кулаки на розовых букетиках весёленькой клеёнки.

Почему Смолычев именно его выбрал, вопроса не было: а кого бы ещё?

Они учились в параллельных группах. После института лет десять друг о друге не слышали, потом столкнулись в одном проекте. Года через четыре судьба снова развела, но они уже подружились. Без лишних восторгов дорожили товариществом, с удовольствием помогали друг другу, всегда ведь есть мелочи, какие сподручнее в четыре руки.

Пока Смолычев был женат, вроде как даже дружили домами.

Жена Смолычева Кира Гребнёву не очень нравилась. На его взгляд, придури ей было отвешено не по норме. Но он на этот счёт никогда ни перед кем не высказывался. Боже сохрани. Мало ли что кому не по нраву. Гребнёв даже с женой Киру не обсуждал. Брякнешь благоверной, что тебе смолычевская не больно симпатична, — а потом самой твоей дружбе со Смолычевым конец, и сам не поймёшь почему.

По прошествии времени Смолычевы развелись и Кира уехала в Ригу.

Сказать тут нечего: если они сами друг друга не любят, Гребнёв хоть излюби обоих, толку не будет. А Валя, разумеется, вздыхала.

Гребнёв помалкивал, но вообще-то ему было странно: они ведь лет десять прожили. Обычно супругов с таким стажем мучит не столько расставание, сколько тяготы процедуры. А у Смолычевых развод получился легче птичьего пёрышка, всем на зависть. Если не считать фотографий, ничего общего они то ли не успели накопить, то ли заранее спокойно распределили. И жильём делиться не пришлось. Просто разбежались — и дело с концом.

Но всё же Смолычева заело, что у Киры появился кто-то, кому она вместо него решила посвятить остаток жизни. Даже, может, такая заноза оказалась, что и не продохнуть.

Правда, обидные её слова Смолычев всегда поминал со смехом, напирая именно на «остаток жизни». Выражение не казалось ему удачным, и он вкладывал в него несколько издевательский смысл. Дескать, откуда знать, какой там у неё получится остаток. Может, сто лет проживёт. А может, завтра под трамвай, вот тебе и остаток, прямо обхохочешься. Вроде бы его это и в самом деле смешило. А там уж кто знает.

Дружить домами они перестали. Собственно, что теперь ему, одиночке, было в их семье делать. Но мужское приятельство не пресеклось.

А потом на тебе — Смолычев пришёл вот к чему.

Может быть, Гребнёв ничего бы и не узнал о его решении, о таких обычно не рассказывают. Но Смолычев обратился к нему с просьбой.

Так, мол, и так, вот так я определился, и отговаривать не стоит. А если хочешь помочь, то будь другом: тут у меня накопилось немного, что ж добру попусту пропадать.

\* \* \*

Прежде он всерьёз не задумывался, но и раньше его посещало это смутное чувство: вина перед теми, кто умер раньше.

Как будто именно он виноват, что их уже нет, а ему повезло.

Конечно, это было не каждодневно: десятилетиями не показывалось.

Но потом случилось что-нибудь неожиданное. Или, напротив, давно ожидаемое. И опять всплывало это неясное представление.

Что-то вроде того, что жизнь — накрытый стол. И живые теснятся вокруг: живые, голодные. Едят, как могут, как у кого получается, как бог на душу положит, поспешно, неряшливо, чавкая и давясь, хватая один кусок, кося на другой...

А тот, кто совсем недавно стоял у того же стола, был со всеми, а теперь вынужденно отдалился, — он оказывается обделённым.

Если по логике вещей, это шемящее чувство было совершенно абсурдным, возникало вопреки очевидному равенству: ведь как он горюет, так и по нему будут горевать, как те отошли, так и этим отправляться. А потом и тем, кто на время останется им в замену. День за днём и век за веком ползти этой вечной гусенице, чадить огоньку жизни. Перебираться с тех, кто уже сгорел, на тех, кто ещё может сгореть, а когда сгорят и эти, то на следующих, — всё дальше по новым и новым хворостинкам: одни уж дотлевают, другие только занимаются. И так всегда.

Но услышав тогда Смолычева, Гребнёв подумал вовсе не обо всей этой мистике.

А о том, что у Коли вообще-то есть сын от первого брака.

Смолычев сам пару раз обмолвился. Правда, говорил стороной: будто о постороннем.

То есть Гребнёв был лишь в курсе того, что мальчик существует. Собственно, ему и это куцее знание не особо требовалось, он бы и ещё меньшим обошёлся.

Но и сам Смолычев знал о сыне ненамного больше. Теоретически, он всё равно мог бы о нём думать. Но на деле судьба отпрыска совершенно не занимала мысли Смолычева-отца. Похоже, он относился к нему примерно как к мерцанию дальних звёзд, которые в силу чрезвычайной отдалённости не могут оказать на его жизнь никакого влияния. Равно как и он на них воздействовать не может.

У Гребнёва судьба сложилась иначе, ему странно было вообразить себя в подобном положении. Но от вопросов или уж, не приведи господи, советов он благополучно воздерживался. Сделал когда-то вывод, что хорошо ли, плохо ли, но Смолычеву ни сам тот первый краткосрочный брак, ни плод его не представляются дорогими. Брак сто лет как распался, а если от плода не удаётся вкусить, так с годами и о нём забудешь.

Ну и ладно, мало ли как люди живут и что в своей жизни ценят.

Но когда со своим последним предложением — или, что ли, с просьбой — Смолычев обратился к нему так, будто на всём белом свете у него никого больше не было, Гребнёв указанное обстоятельство вспомнил.

И когда прошло первое остолбенение, не зная толком, что сказать, невольно принялся мелочить: то есть не говоря о деле *в целом*, свалился к его частностям, к вещам понятным и практическим.

Это было неуместно. Мало ли какие бывают житейские обстоятельства. Речь-то не о том. Толковать о житейских обстоятельствах, связанных с его сыном, в ту минуту было так же глупо, как и о любых иных. С таким же успехом Гребнёв мог бы в ответ сообщить, что ему пора обновить машину, а то уж его старушка совсем рассыпается.

Или что дети у него второй год на съёмной квартире, нужно затолкать Серёжку в ипотеку, ведь куда разумнее платить за своё, чем за чужое. Или ещё что-нибудь не относящееся к делу. Глупость — она и есть глупость.

Но этот мелочный подход позволял сказать хоть что-то конкретное.

Гребнёв и сказал: мол, как же так.

Дескать, даже если оставить в стороне всю глупость замысла как такового. И даже какую-то его, что ли, наглость. Какой-то его, что ли, отвратительный индивидуализм. Даже если на это не обращать внимания.

Но и тогда не могу согласиться.

Потому что, Николай, у тебя же есть сын!

Почему же ты хочешь меня таким счастьем наградить, — вместо того чтобы?..

При этом уже в тот момент, когда он говорил это неуместное, ему легко было представить себя на месте Смолычева.

То есть Смолычев своему другу Гребнёву, как самому близкому: так мол и так.

А друг Гребнёв вместо того чтобы отнестись к замыслу в целом, начинает вдаваться в детали.

Ты об одном, тебе о другом. Ты о масштабе, тебе о последствиях. Как не обидеться?

Да и что — последствия? У всего есть последствия. В одном краю бабочка взмахнёт крыльями, в другом от этого цунами.

Зная, что электрический чайник, закипая, загудит как набирающий ход троллейбус, Гребнёв так и не посмел его включить.

В четвёртом часу ночи он вернулся в постель и тут же уснул.

\* \* \*

Смолычев не хотел никого обременять пустыми беспокойствами. Тем более — лишними проблемами.

Гребнёв отдавал должное этим намерениям. Даже невольно восхищался.

Ну и правда: уж в его-то, казалось бы, положении, с его-то планами!.. Плюнуть на всё, и дело с концом!

Так нет же: думает, как обставить дело, чтобы никому не в тягость. Такой уж человек.

Смолычев не посвящал его в детали. Но намекал, что всё продумал и предусмотрел до последних мелочей. Дело в целом будет похоже на забавный трюк. Учтиво раскланиваясь во все стороны, чародей встаёт в центр зеркальной призмы. Тревожное кипение оркестра обрывается, падает гробовая тишина. И вдруг он, прощально взмахнув цилиндром, без остатка растворяется в сонме своих отражений, не забыв увлечь в небытие и всю их сверкающую толпу...

Тем не менее три или четыре дня после того, как они простились и Смолычев исчез целиком в зеве подземного перехода, Гребнёв жил в тяжёлой, до сердцебиения, тревоге.

Томила ситуация, хотелось разрешения.

Но разрешение — это всегда какая-то судорога, финальный шум-гам, суета... А Смолычев о том и толковал: ему предстоит кануть без брызг и ряби. Просто тихо исчезнуть. Раствориться в чёрной воде.

Так ржавые суда на рейде тишком набирают жидкого балласта в неприметные течи. А потом... под покровом ночи... ни пузырей, ни пара...

И утром уже не за что зацепиться глазу на зелёной равнине моря.

\* \* \*

До конца Гребнёв не верил, конечно. Так-то оно так... исчез целиком. Но ведь когда-нибудь что-нибудь непременно всплывёт. Всегда в конце концов что-нибудь всплывает.

В общем, первые дни он объяснимо тревожился, безотчётно волновался: душа то и дело сжималась, словно нужно было ему куда-то кинуться, что-то поправить, поставить на место, привести в порядок! — а он медлит, не кидается. Попусту тратит драгоценные секунды... ах, господи.

И опять он пытался думать тогда обо всём *в целом*. Но, если честно, не очень получалось. Думать — это рассуждать. Но как рассуждать? *Всё в целом* было так велико, что частное суждение на его счёт не имело смысла. *Всё в целом* было во столько же раз больше человека, во сколько раз земной шар больше муравья. Нет, ещё больше, куда больше. Человек не мог думать предметно обо всём *в целом*. Такая мысль не могла никуда уместиться. А ведь чтобы мысль стала выразимой, надо её хоть куда-нибудь уместить!..

С течением времени тревога отступала, превращаясь из непрестанно ноющей, как зубная боль, в то, что накатывает время от времени.

Часто случалось за едой: бросит на тарелку горячий тост — и вспомнит, что Смолычев любил печёную в золе картошку. Начнёт лить кипяток в заварочный чайник, пахнёт оттуда терпким ароматом, — и опять о Коле подумает.

Отступало... отступало.

Когда-нибудь и вовсе бы истаяло, потеряв плоть, превратившись в нежную кисею памяти.

Но недели через три зазвонил телефон.

Гребнёв взял трубку.

Ему пришлось совершить усилие, какое требуется, чтобы совместить две плоские картинки в объёмное изображение: и голос показался чужим, и не мог — ну никак не мог — этот голос принадлежать Смолычеву!..

— То есть ты жив, — тупо сказал Гребнёв, когда всё встало на свои места и он осознал что к чему. — Ага.

\* \* \*

— Валюша, тут вот какое дело, — осторожно начал он.

Ему не хотелось вдаваться в детали. Первые слова их разговора оказались объяснимо невнятными: Коля произнёс вводное «ну» и тут же осёкся — наверное, потому, что уже в этом его начальном «ну» прозвучало всё, чем можно было бы продолжить: «ну, понимаешь...», или «ну, тут такая ситуация сложилась...», или что-нибудь ещё в том же роде. И любой вариант после этого «ну» имел бы извинительный, даже оправдательный оттенок.

Однако ни извиняться, ни оправдываться Смолычеву вообще-то было не в чем.

Конечно, он странно себя повёл. Но между друзьями это решается просто. Ведь Гребнёв друг, а в чьих ещё глазах хочется остаться безупречным, без странностей и недомолвок, как не в глазах друга. Поэтому просто извинись, и дело с концом. А что до оправданий, то пусть тебя оправдают обстоятельства, судьба, рок или ещё какая чертовщина — а друг простит и забудет, потому что с фатумом не поспоришь.

В общем, разговор начался с этого многозначительного Колиного «ну».

*Евгений Чигрин*

## Машина-сердце

### *Найденное*

Поплатишься за дружбу с Бафометом,  
За телеграммы сатанинским метром,  
Написанные найденным пером.  
Кто говорит? Костлявая на крыше?  
Тот змей, что к Еве подбирался ближе? —  
Её сестру затискивал тайком.

В гниющих пнях и под камнями лето  
Осталось где-то... Всё, что в форме бреда  
В мозгах перекрутилось. Бафомет  
Всю ночь в тебе тряс кумполом козлиным  
И похвалялся миллионным сыном,  
Шутил похабно и сулил не смерть,

А что-то третье между тьмой и светом...  
Показывал, как страх бежит по клеткам —  
По нервным? Да. Включал огонь в глазах  
Блуждающий, по цвету серой крысы,  
Давал глотнуть безвестной марки виски,  
Курил сомнамбулический табак.

Там, в этом «третьем», жизнь другого сорта,  
Другая будет у тебя обёртка,  
Машина-сердце, только и всего.  
Махнул рогами Зверь — огни сверкнули,  
Из сотен ружей вылетели пули,  
Сцепились скалы, сделалось мертво.

А что там дальше? Я не помню, право,  
Со всех сторон надвинулась орава  
Несытых монстров, падких до расправ.  
Всё стало вопросительней, чем было:  
Теперь внутри врага моя квартира,  
В которой я живу без всяких прав.

---

*Чигрин Евгений Михайлович* — поэт, эссеист. Родился в 1961 году на Украине, в г. Мала Виска (Кировоградская область). Долгие годы жил на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске. Автор 12 книг стихотворений. Лауреат многих литературных премий, в том числе национальной премии «Золотой Дельвиг» (2016). Живёт в Москве.

## Уроборос

Так долго розовели облака,  
Тянулась к жизни детская рука  
И ангел рефлексировал. Серьёзно?  
Не потому ли мальчик в старика  
Так быстро превратился: у виска  
Крутить не надо. Осень смертоносна

По всем характеристикам... Вчера  
Листва ольхи, как в музыке, сошла  
С текучих рук, шумы послала в космос.  
И про себя всплакнул бродячий пёс,  
Заметив, что три молнии пронёс  
В кашне грозы змеюка Уроборос.

Тот самый, что пытается сожрать  
Свой гибкий хвост, кому весь мир — кровать,  
Кто всё про обновление смерти-жизни  
До капли знает. Как ему не знать:  
Все знания в него вдохнула мать,  
Другие змеи Уро ненавистны.

Так вот: цикличность жизни и т.д.  
Стал мальчик стариком, теперь везде  
Он видит только прошлое и ради  
Какой-то милой привлекает сны.  
Морфей их знает, как они смешны:  
Когда у них все ночи в шоколаде.

Когда над ними Уроборос, но —  
Они его не видят, не кино,  
Не басенная книга о животных.  
Объятья. Осень. Там мы или здесь?  
Миры перемешались? Хаос. Смесь.  
...Мерцают огоньки в местах болотных.

\* \* \*

Несытое солнце смотрело на сытые розы,  
И маятник жизни качался у Бога в руках,  
В саду просыпались от счастья незрячие осы...  
Весна закрывалась: богиня весны при ключах

Стояла, курила воздушное. Веста ли, Флора?  
Неважно. Рассмотрим потом, а когда, не скажу...  
Казалось, что в воздухе рядом звучит радиолка:  
Фокстрот довоенный, далёкий, как остров Шумшу.



Никольский собор отражение рая старался  
Запомнить на память... некрепкое солнце тепло  
Никак не включало... Прохожий фастфудом питался,  
А облако в реку легло, точно Божье тавро.

Вздыхала река. И рыбак разговаривал с лодкой  
Такой голубой и оранжево-красной с боков,  
Шёл кот Барбарис с ослепительно-стильной красоткой  
На зависть прибрежных, влюблённых в себя воробьёв.

Весна уходила, теплом не насытив, и Флора,  
Почти докурив, усмехнулась, смахнула мираж,  
В котором играла, шипя под иглой, радиола  
Фокстрот довоенный, а может быть, траурный марш.

\* \* \*

Рыбак фотографирует леща,  
Лещу в предсмертье точно не до селфи.  
Его друзья подводные молчат,  
А рядом в банке копошатся черви.  
«Живые черви! Где ты, водный бог? —  
Лещ умоляет, — измени мой жребий,  
Перечеркни, ужасный эпилог,  
На дне остались озорные бэби...  
Бесспорно, я смекалист и красив,  
В реке все фишки просекал свободно,  
Переплывал легко большой залив,  
Нырлял в места дремотные охотно.  
Сазан, и окунь, и толстенный сом,  
*Как сорок тысяч братьев я любил вас!*  
И наш невозмутимый водоём,  
Кота на берегу, что хочет "Вискас".  
Мои бока в последний раз блестят  
Под солнцем-Ра... В египетскую темень  
Я ухожу... Под занавес летят  
Три облака в полуденном эдеме.  
А по воде гуляют барки — две,  
И рыбаки проклятые смеются.  
Под музыку в береговом кафе  
Влюблённые друг другу признаются».

*Недоверчивые очки*

Не призрак твой, а сам ты на пустых  
Ногах стоишь, забытый ипохондрик,  
Стоишь и видишь в облаках гнилых  
Чудовище, а рядом дошлый чёртик, —  
Химеры в недоверчивых очках.  
Опять не те напаяли, старый мальчик?  
Внутри тебя в неприбранных садах  
Блуждающий огонь зажжёт сигнальщик.  
А вслух ты говоришь: «Теперь я где?»  
Махни рукой, всплакни над «Незнакомкой»,  
Что стала крысой при другой звезде,  
Белиберде и музыке негромкой,  
Что скомкана была... В твоих глазах  
Та пустота, что видится погосту...  
Смахни слезу, метафору, а страх  
Нам скоро будет, милый, не по росту.  
Опять ты с аллегорией? А как  
Придумкам нежным втолковать живое?  
Не призрак твой, а сам ты в облаках,  
Какое небо высмотрел — шестое?  
Тут что к чему? Да я и сам зачем?  
Сомнамбулы со мной гуляют рядом.  
У каждой лунной есть смешной никнейм,  
Равно клеймо под жёлтым маскхалатом.  
Ну, вот и всё. А что ещё, старик?  
Палата № 6 не на ремонте?  
В тебе двойник безбашенный возник, —  
Ты слышишь, он прочёл «Из Пиндемонти».

*Алексей Колесников*

## Мой первый, второй, третий и последующие обстрелы

*Рассказ*

1

Щадающий июнь. Почти всё время небо синее, как мультипликационное. В городе тихо. Взрывы я слышал последний раз, когда мы выбирались с Раяй на шашлыки в посадку — юг Белгорода, поближе к границе с Харьковом. Пум-пум-пум — донеслось сначала, а потом началась гроза и заглушила артиллерийскую суету. Неважная погода защищает, как купол, но портит пикник. Мы сунули сырое горячее мясо в пакет и укрылись в машине.

Кажется, я пью пиво и смотрю унылую политическую аналитику. Домой возвращается Раяя и матерится с порога. Клянётся, что завтра же уволится. Ругает за многожды явленную тупость руководство. Раюя приходится успокаивать наскоро состряпанным грибным супом.

— Пивом угостишь? — спрашивает она и, не дожидаясь ответа, делает глоток из бокала, прикрыв глаза. Луч закатного солнца преломляется в пивной кружке.

Раяя абсолютно голая. На белом лице жирнятся лишь тушь и тональник. Кровоточит мозоль на мраморной пятке, и след от резинки трусиков на животе похож на экватор. Между ног кожа тёмно-бурая, как заветрившая колбаса.

— Ты не заболела? — спрашиваю я. — Худоба тебе к лицу, но ты уже почти просвечиваешься.

В ответ Раяя проклинает трудовую повинность и обещает вовсе высохнуть, если интенсивность эксплуатации продолжит расти. Как винный бокал, она придерживает грудь и замечает:

— Зато сиськи выразительнее стали. — Добавляет ещё: — Умоляю тебя! Отпросись в отпуск. Поехали в любое место, где есть море! Где вода ближайшая от Белгорода?

Я задумываюсь, глядя на деревья за окном и плывущие вдоль них автомобили.

---

*Колесников Алексей Юрьевич* родился в 1993 году в Белгороде. Образование высшее юридическое. Печатался в журналах «Новая Юность», «Нева» и др. Живёт в Белгороде.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 11.

— Краснодарский край какой-нибудь. Или Херсон. Он же русский теперь.

Глотая суп, Рая гуглит расстояние до Геленджика.

— Не помню: ты был там?

— Нет, конечно, — говорю. — Там по слухам дорого. Обед — как моя дневная зарплата. Не вывезем материально.

— Почему на меня пиво не взял? — спрашивает Рая. — Зажал?

— Подорожало всё, — оправдываюсь я. — Не был уверен, что тебе захочется. У нас коньяк оставался. На книжном шкафу, внизу, где толстые книги.

— Схожу в пивняк, — решает Рая и проворно одевается. — Может, в Крым рванём? Ты ездил?

Говорю, что бывал и что там тоже дорого. И интернета нет.

— Да и не отпустят меня. Может, в августе? Сейчас бабла почти нет. К тому же нужно иметь запас на крайний случай.

Не отвечая, Рая уходит за своим любимым тёмным пивом, напоминающим водку в нефти. Мой друг Юра разбавляет такое томатным соком.

Пару раз мы занимаемся сексом и засыпаем около полуночи. У кровати недопитый стакан с коньяком (утром Рая скажет, что это моя моча), измятая книга и заряжающийся телефон. Часа в два ночи мы просыпаемся от глухого взрыва. В полусне, как сомнамбула, Рая движется в коридор, прихватив одеяло. Требуется, чтобы я немедленно тоже пришёл. Не хочется.

— Один только. Больше не будет. Это случайность. Только Шебекино бомбят<sup>1</sup>.

Повторный и ожидаемый взрыв. Более мощный. За ним ещё дуплетом. Трясутся пластиковые окна, и у нескольких машин на парковке срабатывается сигнализация. За стеной начинает плакать ребёнок. Он постоянно плачет и без взрывов.

— Отойди! Отойди от окна, — командует Рая, сонно косясь в экран телефона. — Ничего не пишут. Хлопок<sup>2</sup>, и всё. Вот козлы — рекламу пустили. Уже третье объявление. Жильё рекламируют, представляешь?! Вот уроды!

Темень в окне. Лишь фонари освещают пустую дорогу. Воеет соседский «Мерседес». Мы живём у края города за объездной трассой.

Взрывается близко к земле, но далековато от нашего района. Я не паникую потому, что к нам во двор за два года ничего не прилетало. Только в трёх километрах случилось. Расскажу потом. Это был один из первых моих обстрелов.

Нехотя я плетусь в туалет, потом опускаюсь в коридоре на пол рядом с Раей, спиной к толстой стенке, и мы переживаем зенитную дуэль. После, как всегда, долго не можем уснуть. Я брожу по квартире, пью воду, поглядываю в окно и в телефон. Рая на всякий случай одевается. (Вдруг на улицу бежать придётся.) Бельё, впрочем, игнорирует. Говорим о ерунде, вспоминаем наши лучшие дни, и вдруг внезапно решаем съездить в Абхазию.

— Полторы тысячи километров и дешевле. Бухгалтер с работы говорила, что там красиво.

---

<sup>1</sup> Шебекино — город в Белгородской области. Расположен в 50 километрах от границы с Украиной и в 30 от города Белгорода по прямой. Население Шебекинского района: 86,1 тыс. человек, г. Шебекино: 36,6 тыс. человек.

<sup>2</sup> Устоявшееся в Белгородской области определение для взрыва, происходящего в небе в результате поражения ракеты системой ПВО.

— И не бомбят, — замечаю я. — Ладно, попробую отпроситься, хотя жаль раскошелиться на роскошь.

— Море не роскошь, а терапия для нервной системы. Обеспокоенность вреднее сигарет.

Через две недели, в полчетвёртого утра, на моём гнилом «Авенсисе» мы выезжаем в Гагру, с остановкой в Краснодаре, где живут Раина сестра Аня с мужем. Я их никогда не видел.

Ане двадцать лет. Она уехала в Краснодар с мужем Антоном, когда случились первые прилёты в Белгород. Рая говорит, что Аня росла капризной девочкой, а родители ей во всём потакали, как это бывает с поздними детьми.

Мы выехали в третью пятницу июня 2023 года. В этот день над Белгородской областью сбили лишь один беспилотник далеко-далеко от нашего дома. Я бы и не вспомнил, если бы не этот текст.

## 2

Проезжая Миллерово, я понимаю, что мы практически у границы с Луганском. Это заставляет забыть о стоимости бензина и величине тарифов платной дороги М-4. Я даже перестаю опасаться, что может отвалиться левое колесо с поскрипывающей шаровой. Гоню сто тридцать и обгоняю тысячную фуру, везущую не то жратву, не то бытовую химию.

Раю беспрестанно дёргают коллеги. В ответ она шлёт поток нервных, но чётких голосовых сообщений. Поясняет, где какая папка на её столе. Мы практически не разговариваем.

— Ты штурман, или как? Следи за дорогой! — упрекаю я Раю, когда мы пропускаем поворот.

Рая, как кошка, шипит в ответ:

— Сам следи. Они моё заявление на отпуск потеряли. Рассказываю, где может храниться копия. Без него отпускные не пришлют.

— Тут граница недалеко. Если случайно заедем в Луганск, то деньги не понадобятся.

— Ещё как понадобятся. Слушай, а Игорь из Луганска или из Донецка?

— Из Луганска.

Это Игорь познакомил меня с Раей два года назад. Рая дружит с его женой Ольгой. Видимо, они решили нас свести. Пригласили на шашлыки за город — там у них дача, оставшаяся от бабушки. Это было до войны, осенью. В тот же вечер я увёз Раю в свою холостяцкую квартиру, а вечером, ничего особенно не выясняя, она притащила ко мне свои тряпочки и колечки.

Я приехал в Белгород из полувывершенного посёлка, чтобы учиться на *никого*, а потом работать *никем*. Рая — коренная белгородка, врач-акушер, самая красивая девушка в их больнице, КМС по плаванию; нежная, с лёгким сердцем, когда не нервничают. Омут моей холостяцкой жизни она всколыхнула энергией, спонтанностью и трепетной любовью. Ненадолго даже сумела убаюкать мои литературные амбиции.

— Оля или Игорь тебе когда-нибудь рассказывали об обстреле в Луганске? О том, как погиб брат Игоря? — спрашиваю Раю.

— Нет. Я знаю, что там у Игоря кто-то умер перед отъездом. Отец?

— Нет. Советую тебе его подпоить посильнее. Тогда будет история.

Рая уговаривает меня рассказать, но я отказываюсь:

— Не смогу, как он. Это не мой арзамасский ужас.

— Вечно всё тянуть из тебя приходится! Как тебя только не тошнит, когда рассказы свои пишешь.

— Тошнит, конечно. Обычно это симптом того, что получается.

Приближаемся к Новошахтинску. Кондиционер работает на полную мощность. Заканчивается вода, и жрать хочется. На шоколадки, припасённые Раяй, я уже не могу смотреть. На заправке покупаю пару дорогуших хот-догов и кофе.

— Пёс в булке, — говорю я.

Всё же я решаю рассказать про Игоря. Поссорившимся людям нельзя принимать совместно пищу: она не переварится и случится запор, что удобно в пути, но крайне бесполезно.

Игорю было семнадцать. Он собирался уехать из Украины на учёбу куда-нибудь в Россию. Летним вечером он, его младший брат и пара проверенных приятелей отмечали окончание школы. Сначала шатались по знакомым улицам вдоль раздолбанных зенитками домов, потом от нечего делать пропадали на стадионе — болтались там на турниках. Прятались в остановке с советской мозаикой от внезапного дождя, а на закате накупили пива и двинули на пустырь, образовавшийся за остановившимся заводом. Место безлюдное, но при этом близко к дому.

Неумело выпивали, травили байки, говорили о войне, к которой вполне привыкли. Младший брат Игоря — десятиклассник Павлик — напился сильнее всех. Ему было весело. Он подпевал русскому року, хрипящему из динамика телефона, снимал видео, названивал какой-то девчонке, с которой познакомился на олимпиаде по литературе минувшей осенью, и делал «колесо». В Россию Павлик не собирался, а планировал через год перебраться в Киев. Туда уехали некоторые его друзья.

Я не видел Павлика даже на фото. Игорь уверял, что на турниках Павлик наработал себе сухие красивые мышцы, выпирающие, как спрятанные под одеждой камни. Кажется, и учиться он хотел на преподавателя физкультуры. Впрочем, возможно, я фантазирую. Ещё у него были длинные кучерявые волосы, как у музыкантов Led Zepplin. И пел он, якобы, очень хорошо.

Часов в десять вечера, когда уже стемнело, начался обстрел. Все легли на нагретые за день бетонные плиты и замерли. Игорь не нашёл рядом Павлика — тот отошёл к деревьям, чтобы отлить. В панике Игорь рванул на поиски, разгребая дебри тьмы руками. Будто по заказу, пустырь озарился белым светом ракеты, потом шархнул мерзотный взрыв, и на пустырь осели подпалённые, воняющие гарью осколки. Переждав, Игорь метнулся дальше, подсвечивая дорогу телефоном, и у куста шиповника обнаружил Павлика, лежащего на траве с запрокинутой головой.

Его волосы липли к разрезу на горле. Кровь шлёпала из раны на шею и грудь. Игорь попытался поднять Павлика, но не смог. Слишком тяжёлые мышцы и мощный магнит у земли. Павлик скоро умер. На руках у брата, под испуганными взглядами товарищей. Всё случилось за несколько минут. И рой ос, встревоженный взрывами, кружил над ними.

— Чья же это была ракета в итоге? — спрашивает Рая.

— Никто не знает. Игорь считает, что украинская.

— Скорее всего, — соглашается Рая.

Мы едем дальше, и на всякий случай я рассказываю Рае, где именно в багажнике лежит аптечка. Она внимательно слушает, а я не свожу глаз с платной трассы М-4. Рая уверяет, что может перевязать рану даже носовым платком.

Иногда, когда мы собираемся вместе, начинается обстрел. Игорь совсем их не боится. Угадывает снаряды по звуку и определяет, близко или далеко они бахнут.

Я не знаю, сколько всего человек погибло в Белгородской области за всё это время. Полагаю, что много, ведь много — это больше нуля.

В основном это случается в приграничных сёлах, а там «как будто, люди попроще» — так мне сказали однажды в баре. Я отстаивал очередь в туалет.

Воочию я никогда не видел, как ракета попадает в здание или как с неба летят её осколки. Только сбитые системой ПВО ракеты над головой и снаряды, уверенно летящие без заграничных паспортов прочь из отечества.

Мой опыт несравним с опытом людей, видевших, как отваливается половина их кухни, как ракета со скрежетом прошивает бетонную стену, на которую ещё вчера наклеил обои, или как взлетает над землёй и вертится автомобиль. Я молчу о солдатах. Видели, как дроны скидывают гранату на лежащего в окопе солдата? Почему он там один?

Задолго до войны я работал с девушкой из Донецка. Настоящая украинка — красавица с огромной задницей и хитрыми глазами. Она прожила в Белгороде пару лет, а потом вернулась домой. Я знал, что подобные разговоры она считает непереносимыми, но всё равно попросил как-то во время обеда:

— Объясни, пожалуйста... Ведь непонятно, как это так: в городе война, а вы гуляете, покупаете машины, играете свадьбы, картошку выращиваете, концерты проводите. Стреляют же.

— Ну вот так.

— Вот идёшь ты, а на соседнюю улицу падает ракета...

— Ну да!

— И так каждый день? Шагаешь в школу — окоп. Солдаты сидят. Ты перелезла его, обошла танк, завязала шнурочки за зениткой, помогла донести раненого и дальше, да? Так как-то?

— Нет, конечно. Какие окопы? Это не как в кино.

— А как?

— Обстрелы.

Она не умела или не хотела рассказать.

Впрочем, теперь мне понятно. Обстрелы — это всегда далеко, если не касается тебя лично. И ещё каждый раз мнится последним. Невыразимое чувство.

Летним вечером смотришь с балкона — плывёт по чёрному небу над театром или супермаркетом красно-жёлтый шар, как фонарик. Ближе и ближе. Достаточно медленно. Всегда кажется, что заинтересован он именно тобой. Потом взрыв, искры, и шарик выплывает, как видение у похмельного. Утром читаешь в новостях, что осколки рухнули на чью-то машину или дом. Как-то за вечер таких шариков я насчитал двадцать, а потом устал, вернулся из коридора в зал и продолжил смотреть кино.

Днём ракеты в небе выглядят иначе. Они напоминают иголочку, сшивающую облака. За ней тянутся молочные линии, как от самолётов. Потом они становятся толще и прозрачнее. А потом испаряются.

Белгородский аэропорт закрыт полтора года. Я испугался, услышав гул самолёта в Сочи. Вообще, есть что-то чуждое человеку в этих птицах с моторами.

Из Белгорода я летал лишь однажды в любимый Санкт-Петербург, как раз за год до войны. Оказалось, что над облаками всегда солнечно и совсем не страшно.

Пуск ракеты хорошо наблюдать ночью. Сначала глухой вой, а потом из-за леса вытягивается красная стрелка и проворно ныряет в чёрную гущу небес.

Прежде я не знал бессонницы. Иногда, засыпая, я слышу один или два взрыва. Пластиковый стеклопакет вздрагивает, и волна воздуха ударяет в натяжной потолок — тот шелестит, как берёзовая ветка. И всё. Больше ни звука, но я лежу часа три и размышляю об осколках на одеяле, об оторванных частях человеческого тела, о том, что стану мстить, если Раю убьёт, а меня не заденет. Недосып стал хроническим.

В самом начале войны я знал расписание пуска ракет: в полночь и далее, до половины первого.

В начале этого лета украинские ракеты прилетали в Белгород ровно в двенадцать часов дня — в самом начале моего обеденного перерыва. Это мешало переваривать гречку с курицей. Я люблю сидеть в столовой у двухметрового окна. Частенько я представлял, как оно разлетается на тысячу стёклышек, которые нашпиговывают меня, как соль говядину.

Думаю, ракете было бы страшно одной в холодных небесах лететь неизвестно куда на сумасшедшей скорости, если бы у неё была душа, но в ней ведь только смесь для разрушения. Бывают такие люди. Им тяжело мечтать, и они не любят книги.

### 3

Долгая дорога до Краснодара изматывает. Очень большая Россия не радуется разнообразию. Много пустот. Я не чувствую правую ногу, скачущую с газа на тормоз и обратно. Спина каменеет, немеют кисти рук. Миллиард глазастых камер, жадных, надменных и коварных. Зато чем ближе к югу, тем легче дышать.

Дороги почти без ям. Полно заправок с бесплатным туалетом, менты пристают, но ненавязчиво. Множество кафе и закусовых с яркими узорами. Русь — ты вся перекус на дороге.

Рая уснула. Её забытью не мешает музыка и визг сигналов. Она всегда крепко спит. Научилась на дежурствах. А у меня сон чуткий.

Впрочем, тот случай, когда разнесло дом в самом центре Белгорода, я проспал. Утром весь город обсуждал это небывалое прежде событие.

В близстоящих домах вынесло окна. Коллега по работе рассказывала об истерике персидского кота, который метался по квартире, как подожжённый, и пытался забиться под ковёр, усыпанный стеклом.

Мы с Раей дрыхли.

Ездили потом посмотреть то место. Нас Юра потащил. Уверял, что это историческое событие и нужно быть безумцем, чтобы не зафиксировать его в памяти. Уговаривая, смотрел исподлобья: «Пешком идти минут десять, ну».

Груда земли, перемешанная с кирпичом и деревяшками вместо дома. По периметру ленточка и усталые менты, отгоняющие зевак. Сейчас на этом пустыре планируют что-то построить. Окна пострадавшим вставили за неделю.



---

*Валерий Рыженко*

## МИМОЛЁТ

*Рассказ*

Везде поперёк каким бы ни было печалям,  
из которых плетётся жизнь наша, весело промчится  
блистающая радость...

*Н.В.Гоголь. «Мёртвые души»*

Проскочив по мосту через Дон возле города Серафимович, глотнув свежего бодрящего воздуха, а потом, окунувшись в удушающий запах бензина автозаправочной станции, расположенной примерно метрах в ста от Дона, я выезжаю на самую верхушку невысокого бугра: летом с опалённой травой, зимой оголённого, осенью покрытого грязью, весной обсыпанного одуванчиками...

Остановив машину, выхожу и смотрю не на Дон — могучая река, но мелькает, островки в середине появляются, — а на дорогу, ведущую к Суровикину. Пустая. По сторонам хилые низкорослые посадки, запустевшая и заглохнувшая степь. Вдали горизонт. А то, что мне хочется увидеть, — не видится. И так каждый раз, когда я еду в Обливскую.

Я останавливаюсь не потому, что меня измотала почти в тыщу вёрст дорога, забитая тяжеловесными фурами, я наловчился проскакивать между ними, а воспоминания.

Постояв немного, сажусь в машину. До Суровикино сотка вёрст. Они кажутся мне бесконечными. А ведь был день, когда эти вёрсты пролетали, как секундная стрелка по кругу. Иногда я притормаживаю и ползу, словно черепаха, а порой вдруг срываюсь так, что стрелка на спидометре зашкаливает: не надейся, это был сон, это была мечта.

В тот раз, в июльский распаренный день, я тормознул, увидев на верхушке бугра женщину лет двадцати пяти-тридцати, она махала рукой.

Стоп машина. «Добыча» в руки плывёт! Эта мысль, что греха таить, всполошилась от желания.

— Куда?

— А тебе это нужно знать? — отрезала, как бритвой перед лицом махнула.

Я оторопел.

---

*Рыженко Валерий Андреевич* родился в 1944 году в Луганской области. Окончил Высшую школу КГБ при Совете Министров СССР. Автор множества книг по кулинарной, спортивной лечебной тематике. Печатался в «Роман-газете», «Нашем Современнике», «Смене» и др. Живёт в городе Домодедово Московской области. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Как говорят, просел одновременно в чувствах удивления и злости.

— Зачем тогда махала, чтоб я остановился?

— Я не тебе махала, прощалась с Серафимовичем. А вообще мне нужно в Суровикино.

— Садись, — успокоившись и распахнув дверцу, сказал я. — Подвезу.

Она, внимательно осмотрев меня, бросила.

— Только я в твои игры не играю. Понятно?

Заинтриговала.

— Какие игры?

— А те, что выше коленочек.

— Это как понимать?

— А так, — насмешливо ответила она. — Приглашают, а потом говорят: расплачиваться как будешь? Деньгами или натурой. Предпочитаем натурой брать. Это твёрдая валюта. Всегда в цене.

— Я не такой, — быстро бросил я.

— Ну, конечно, — с иронией отбила она, — я не такой, я очень хороший. Все вы мужики так говорите, — повела она с сарказмом. — Предупреждаю. — Она сжала сочные губы, блеснула не глазами, а глазищами. — Я одному даже дверку снесла, когда вырывалась.

Она замолчала.

— А дальше?

— Интересно стало? Или ищешь слабинку во мне, чтоб не споткнуться? А дальше вот что. — Твёрдая на голос, мне показалось, что даже слова звенят. — Захотелось ему, родимому, — певуче начала она, — моих коленочек, в посадочку да на мягку травочку.

Как в сказке: «посадочку», «мягку травочку».

— А травочки не оказалось-то. Выпало солнышко. Репейничек один остался. Сердитый и колючий страсть какой. Я со злости изнутри машины и саданула обеими ногами в дверку. Вернее, не саданула, а лягнула обоими копытами. Это для тебя, чтоб образней и понятней было и знал мои способности. Дверка пуф, и выломилась, — она развела руки в стороны. — Как же он матерился, боже мой, — она так сокрушённо покачала головой, что я засмеялся. — Я такого не слышала. Бросилась бежать. Он — за мной. Мне-то легче. Я бегу без мата, а он с матом да ещё с дверкой. Почему с дверкой, до сих пор не пойму. Подарить, что ли, хотел мне? Или в качестве памятника на мою могилку поставить? Чуть не задохнулся, бедняжка. Попрощались прилично. Он мне кулак показал, а я ему язык. И ты такой?

— Я выдержанный мужик, к женщинам отношусь с особым уважением и вольностей не допускаю, — похвалил я себя, даже стыдно стало.

— О, — улыбнулась она. — Выдержанный, а если я сейчас юбочку подёрну и коленочки свои покажу?

— Не веришь? Тогда сделаем так. Ты согласна?

— Нет, — отсекла она.

— Я ещё не успел сказать, о чём речь, а ты уже паришь: нет, — сорвался я.

— Тогда говори, — разрешительным тоном. — Это с чем я должна быть согласна?

Я вышел из машины и направился к ней, она попятилась, потом, быстро нагнувшись, ухватила увесистый булыжник.

— Хочешь силой взять? Смотри. У меня каменюка и когти стальные. Ух. Порву и пискнуть не дам.

Её слова подействовали на меня, и я на всякий случай стопорнул. А вдруг припечёт булыжником?

— Это. Как бы тебе попонятней сказать, — с перебоями стал говорить. — Да. Вот так. — В таких ситуациях нужны слова лёгкие, задушевные, чтоб душу ласкали, а у меня они почему-то выходили тяжеловесными. — Каменюку для других сохрани. Машины легковые можешь водить? — В норму вошёл.

— Да что машины. Начинай с тракторов. До самолёта вот не добралась. Жизнь научила даже на велосипеде ездить, — засмеялась она.

— Тогда садись за руль, а я на место пассажира. И топи.

— Ты что, сбрендил? — удивлённо вздёрнулась она и выбросила булыжник.

— А почему бы и нет? Я устал, из Москвы качусь, малость вздремну, а ты вместо меня порулишь.

— А кустовые сидельцы?

— Кто такие?

— Гаишники. Из кустов выскакивают либо когда машину увидят, либо когда кусты горят. Во всех остальных случаях мёртво сидят, как приваренные.

— По этой дороге они не ездят. Не хлебная она. Федеральная — другое дело.

— А если я врежусь? Машину побую?

— От этого никто не застрахован.

— Выдержанный ты или не выдержанный, — не знаю, посмотрим. А то, что ты, извини, конечно, ненормальный авантюрист, — наградила, — это точно, и знаешь, даже очень интересно стало, — приняла она моё предложение.

«Вот тебе и добыча, — подумал я. — Атакующий хищник. Сама кого угодно добычей сделает, а я кто в данной ситуации? Крадущийся хищник».

— А куда едешь? — спросила она, выводя машину на узкую, поклёванную дорогу.

— В Обливскую. Тестя и тещу проведать.

— Выходит, что женат, — улыбнулась она. — А жаль. Я бы тебя, сонного, к церкви в Суровикино подвезла, обвенчались бы.

— Вот так. Сразу.

— А зачем ждать?

— Выходит, что ты не замужем.

— Какой догадливый. Была. Ушла от мужа. Любил закладывать.

Через час показалась суровикинская телевизионная вышка.

— Лихо едешь. Сто вёрст за час взяла.

— Это я от страха, чтоб ты не передумал и не начал приставать. Ты же не сумасшедший, — ввинтила она, — чтобы на скорости сто километров в час шарить руками по мне, хотя твоя авантюра посадить за руль совершенно незнакомого человека говорит об обратном. Слушай, — она повернулась ко мне. — У меня хорошее предложение. Просто отличное. Соглашайся.

У меня ёкнуло сердце, что задумала, но не давать же задний ход.

— Выкладывай.

— У тебя машина, а не поезд. По расписанию не ходит. Давай махнём назад к Серафимовичу. Покупаемся в Дону. Как ты на это смотришь?

— Просто, — облегчённо вздохнул я. — Разворачивайся. Только внимательно. Сзади фура.

— Послушай, я водитель или ты? — сердито сказала она.

— Ты.

— Вот тогда и помолчи, — осадила она.

Часа два мы купались в Дону. Загорали. Пацанка. Она неожиданно схватывалась с места, мчалась во всю прыть к воде, отталкивалась ногами и, блеснув телом на солнце, обрушивалась в воду. Фонтан брызг, и она среди них.

— Здорово! — весело кричала она. — Это очень здорово!

Выйдя на берег, падала на спину, раскинув руки, и, прищурившись, смотрела на солнце.

— Дразнилка, — говорил я. — Ляг на живот.

— А ты не на меня смотри, а на солнце. И вообще, что здесь такого, если женщина после купания ложится на песок спиной, чтобы её погреть? Может, у меня радикулит.

— И давно он у тебя прорезался?

— Да только сейчас. Год молчал.

— Давай массаж сделаю.

— Спасибо, но ты же говорил, что выдержанный, с особой внимательностью относишься к женщинам, вольностей не допускаешь, ну и прочую ерунду нёс. Так не мешай мне. Дай полюбоваться солнцем.

Она немного поднялась и опёрлась на локти.

— Ух ты! Какое яркое и сочное.

— Как у тебя губы, — подбросил я. — А знаешь?

— Не знаю.

— Да ты послушай. Может, вспомнишь. Мы с тобой уже виделись. В монастыре, который в Серафимовиче, на Пасху. И целовались. Христос воскрес! Воистину воскрес! Может, представим, что сегодня Пасха?

— Так и стараешься подобраться поближе, — сказала она. — А знаешь, что поближе — это действительность чурбанов, а подальше друг от друга — это мечта. Смотри на солнце. Я впервые вижу его таким.

Она перешла на шёпот и поманила меня пальцем.

— Ползи ко мне. Я знаю тайну проклятого места. Оно напротив монастыря на берегу Дона находится. Видишь монастырь?

— Тебя вижу, монастырь нет.

— Послушай мой добрый совет. Я ведь могу и оплеуху влечь. Так вот, — не сбавляя шёпот, понеслась она. — Монашки беременели и, когда рожали детей, то топили их в Дону. Люди, которые ходили к проклятому месту, говорили, что слышали плач новорождённых. В монастыре и чудесный камень Пресвятой Богородицы есть. Его ещё называют Монашкин Камень или Камень Арсенин. Я одно время собиралась уйти в монашки, да услышав о проклятом месте, отказалась. Интересный монастырь. Я тебе многое могу рассказать о нём.

— Не нужно, — ответил я. — Был там. А о проклятом месте впервые слышу.

— А ещё ходила я к Камню Пресвятой Богородицы. Молилась, чтоб муж бросил пить, но видишь, ушла, возвращаюсь домой. Не думаю, что это наказание мне. Скорее спасение, потому что с пьющим мужиком тяжело жить. Самой можно запить. Да и разлюбила я его. А может, и не любила. Выскочила в восемнадцать лет. А зачем ты ходил в монастырь? Ради интереса, любопытства?

— Нет. Счастье там искал.

— Ого. Если искал, значит, знаешь, как оно выглядит.

— Знаю.

— Тогда расскажи.

— Оно похоже на тебя.

— Я серьёзно спрашиваю, а ты?

Она вскочила, отломила веточку от куста и стала чертить на песке.

— Что чертишь?

— Пишу, что такое счастье. Жаль, что на песке, ну ничего. Сойдёт и на песке...

Я поднялся и направился к ней, чтобы посмотреть, но она быстро стёрла ногой.

— Зачем?

Она не ответила, посмотрела на монастырь, на Дон, на меня и стала одеваться.

— И откуда ты свалилась на мою голову, — не выдержал я. — Ехал спокойно, и на тебе.

— А я знала, что ты едешь, поэтому и вышла на бугор, чтоб тебя встретить.

— Если вышла встретить меня, зачем тогда за каменюку хваталась?

— Ты не об этом думай, а скажи Богу и мне спасибо, что я не запустила её в тебя.

А ведь могла от радости и шарахнуть.

Пришлось только развести руками.

Время мчалось с бешеной скоростью. Я никогда не испытывал такую жгучую ненависть к нему, но время — как вода. Ни то, ни другое в кулаке не сожмёшь и не удержишь.

— Пора ехать, — сказала она. — Тебе ещё нужно до Обливской добираться.

— А может, заедем к тебе, — бросил я, когда сели в машину.

— Не надо, — вздохнула она. — Мы всё испортим.

Она, оставив руль, потянулась. Я перехватил.

— Ты рули, рули, — выпалил я. — А то в кювет завалимся.

— Ты точно ненормальный. Я и так рулю. Нога на тормозе.

— А если в кювет кувыркнёмся, где твоя нога будет?

— А куда Бог положит, — равнодушно бросила она, — там и будет. А если в кювет попадём, то нужно делать вот так.

Она резко тормознула. Хорошо, что я был пристёгнут. Иначе полёт через лобовое стекло был бы неминуем.

— Не сердись. Это жизнь. Кто-то рулит, кто-то тормозит, но все мы попадаем... Понимаешь, я никак не могу узнать, куда мы попадаем. На небеса или, извини, в собственные ароматные изделия. Не подсказывай, хотя ты толком не знаешь. Я сама должна догадаться.

Половину дороги обратно она молчала.

— Что молчишь? — спросил я.

— Да, как-то на душе нехорошо. Садись за руль. Голова закружилась. Наверное, перекупалась и перегрелась.

Я посмотрел на её лицо и внутренне вздрогнул. Это было лицо женщины, словно шагнувшей в шестидесятилетний возраст. Она перехватила мои мысли, то ли интуитивно, то ли каким-то другим образом. Не понятно.

— Не удивляйся, — сказала она. — Это мимолёт.

— Это что? Болезнь такая?

— Нет, — она засмеялась. — Не пытай меня. Не скажу.

Недалеко от поста ГАИ я остановился, как велела она.

— Вот и всё, — вздохнула она. — Простенько, без обнималок и коленочек.

Покатались-покатались и расстались.

Она потянулась ко мне, слегка поцеловала в щёку и нажала на сигнал.

Полоснуло.

— Суровикино! — закричала она. — Встречай свою дочь.

— Ну и выходки у тебя.

— Нормальные выходки.

— Я тебе номер мобильника дам, — сказал я. — Позванивай. Сообщу, когда в следующий раз ехать буду.

— Хорошо, — ответила она.

— Свой номер оставь.

— У меня пока мобильника нет.

Она ушла не оборачиваясь.

Я проехал по центральной улице городка, чтобы выскочить на федеральную трассу, но передумал и стал кружить по улочкам и переулочкам в надежде увидеть её. От этой затеи я отказался, когда стало темнеть.

Я нацелился уже на Обливскую, но передумал. Позвонил теще и сказал, что сломался возле поворота на Михайловку. Машину загнал в сервис. В ней и переночую, а где-то к обеду выеду.

Ночью я почти не спал. Изредка захватывала дрема, и я, как наяву, видел Дон, фонтаны брызг и её среди них, поднимающуюся вверх. Я даже бормотал: протяни руку, чтоб я смог ухватиться, но она отрицательно качала головой.

Утром я подумал, а где собирается больше всего людей в воскресный день? На рынке. Я направился туда. Гремела оглушающая музыка. Из палаток, забитых одеждой, доносились голоса: дешево, недорого. Торговали свининой, телятиной... На одном конце рынка продавали цыплят, утят, кроликов... На другом — автомобильные запчасти, ковры, картины... Этот многоголосый, копошившийся клубок душил меня. В воздухе носились запахи пота, пива... Я исходил весь рынок. Запала она мне в душу. Хотелось увидеть её, услышать голос, сказать... А что сказать, если в голове моей был хаос? Моя жена и она. Подходя к палаткам, я намеревался спросить, но что я мог спросить? Я не знал её имени. Пацанка, но это не имя, а образ: мчаться по песку и, сверкнув телом в солнечных лучах, бултыхнуться в воду, а, вынырнув, закричать: здорово! Я дошёл до отчаяния и направился к мужикам, выпивавшим на скамье в сквере.

— Мужики, можете?

— Конечно. Что за вопрос?

— Я ищу одного человека.

— Это хорошо, что ищешь.

— Но я о нём мало что знаю.

— Это тоже хорошо, что мало. Мы знаем больше, потому что коренные. Информация стоит сейчас дорого. Бизнес. Понимаешь?

— Понимаю.

— Это тоже хорошо. Купи нам бутылку, потом обрисуй человека, скажи фамилию, улицу, номер дома, и мы отведём тебя.

Ничего не вышло.

Уходил я уже с опустевшего рынка. Дорогой купил чекушку «Парламента». Выехав из Суровикина, проехал по мосту через Чир, высыхающий и зарастающий густым, почти трёхметровым камышом, свернул на степную дорожку, остановился и выпил. Гаишников я не боялся, так как знал немало дорожек в степи, ведущих к Обливской. Суровикино постепенно уходило из вида, я оглядывался, пока оно совсем не скрылось.

Я ждал её звонка, но она не звонила. Несколько раз я собирался ехать в Обливскую, говорил жене, что хочу проведать её отца и мать, но поездки откладывались.

Позвонила она через год.

— Почему год ни одного слова?

— Да это, ну времени не было. Это.

Она замолчала.

— Врать ты не умеешь, — сказал я.

Длинная пауза. Только прерывистое дыхание.

— Я боялась, сам понимаешь чего. — И тут же быстро добавила: — Выхожу замуж через неделю. Поздравись, или как?

Я поздравил, но мне было грустно. Ощущение, что я потерял очень близкого человека, который промелькнул передо мной и должен был исчезнуть, но не исчез.

Иногда я сажусь в машину и выезжаю на трассу, и мне чудится, что я вижу, как она идёт по дороге.

Дорога, дорога! Ты единственное спасение и надежда для меня, когда в душу накатывает грусть, перемешанная с тоской, когда я чувствую, что задыхаюсь среди людей, и мне хочется вырваться на машине в неизвестность.

Колёса наматывают вёрсты с бешеной скоростью. По сторонам мелькают посадки, подлески, бескрайняя степь с полыхающим над ней солнцем, проскакивают мимо деревни, кладбища, городишки, церквушки с позолоченными куполами, одинокие могилки с деревянными крестами, почти такие же, как и были на Руси, переходящие из века в век. А дорога всё вьётся и вьётся и уводит в бесконечную даль.

О чём мечтал, то не сбылось.

О чём не думал, то случилось.

Как хороша ты, прекрасна и пьяняща в яркий солнечный день. Блистешь, словно отполированное зеркало. Не раз ты вводила меня в густые, рослые, тенистые леса, где я, останавливаясь, находил тропинки, протоптанные охотниками за грибами. Я выходил из машины и шёл по этим тропинкам, прямым и петляющим, с чувством ожидания увидеть что-то необыкновенное, неземное, но напрасны были мои мечты, они обрушивались из-за захлестнувшей меня обыденной жизни. Чаще всего я не выбирал тропинки, а шёл напрямик, продираясь сквозь мелкорослые кусты, колючие заросли, ощущая себя иногда одиноким и забытым, иногда свободным, и тогда в порыве свободы и восторга я, заложив два пальца в рот, издавал пронзительный мальчишеский свист, который срывал с деревьев птиц. Порой я скатывался в крутой овраг, родниковую балку или наткнулся на небольшие лесные озера, речушки, но не прельщали они меня, и я недолго бродил в незнакомом месте, снова возвращался назад. И ты опять расстилась передо мной сверкающим, отливающим солнечным полотном.

Ты становилась жестокой и опасной и не щадила меня, когда попадала в темень, когда покрывалась густым туманом, когда начинал хлестать ливневый дождь, когда леденела, и мне думалось, что ты заберёшь меня к себе, и страх наваливался на меня, но проходило время, и ты, вырвавшись из непогоды, снова открывалась передо мной своей свежестью и чистотой. Нет у тебя ни начала, ни конца. Как много у тебя таинственного, непознанного и скрытого. Ты, словно время, бежишь без усталости по земле.

Попадались попутчики молодые, постаревшие, и в их глазах, как казалось мне, я видел ту же страсть и любовь к дороге. Мчатся мимо суетной жизни, наполненной и радостями, и горестями, не останавливаясь, и пусть Судьба решит, где сделать последнюю остановку.

*Григорий Князев*

## Длинных волн сердцебиенье

### *Размышления на Ладожском берегу*

Ладоги вода большая  
Сводит ноги — хо-ло-дна!  
Наши мысли заглушая,  
Всё шумит, шумит волна...

Чудом ловят слух и зреньё  
Ощутимо, наяву  
Длинных волн сердцебиенье,  
Ладожскую синеву.

Там, за тонкой пеленою  
Воздуха и облаков,  
Горизонт стоит стеною:  
Доплывёшь — и был таков!

Перед силою стихии  
Люди хрупкие слабы:  
И слепые, и глухие,  
Замираем, как столбы.

Мира малые частицы...  
Уходя в песчаный слой,  
Как же, как же научиться  
Не бояться стать землёй?

---

*Князев Григорий Юрьевич* — поэт, филолог. Родился в 1990 году в Великом Новгороде. Окончил филологический факультет Новгородского государственного университета. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Звезда» и др. Автор семи поэтических сборников, в том числе — «Живые буквы» (2022). Лауреат нескольких литературных премий. Участник (2023) мастерской для молодых писателей в Великом Новгороде, организованной Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР). Живёт в Великом Новгороде.



\* \* \*

Дома — тихо и темно,  
Но в ушные перепонки  
Сквозь прикрытое окно  
Проникает отзвук тонкий:

То вдруг пение пьянчуг,  
То отчаянная ругань —  
Жизни полон всякий звук,  
Будоражащий округу.

А иначе — тишина  
Смерти маленькой подобна,  
И смешались в гуще сна  
Мир земной и мир загробный.

Пусть опять бес-сон-ни-ца —  
Город мой гудит покамест.  
Пусть движенью нет конца —  
То с моста, то снова на мост.

Только не смолкай, звучи,  
В воздухе чертя кривую.  
Раз в глухонемой ночи  
Слышу — значит существую.

### *Памяти Ольги Фокиной*

И в конце дороги той  
Хоть какой-нибудь постой...  
О. Ф.

Осеннего тумана дымка,  
Гребут листву, и жгут костры.  
И вечно жизнь и смерть — в обнимку,  
Две неразлучные сестры.

Меж просек северных и пасек  
Мне б дом и дерево прочесть...  
«Здесь долго жил и умер классик», —  
По свету разлетелась весть.

Печальная улыбка Бога,  
Печать живущих на миру —  
Узнать, увы, из некролога  
Стихи собрата по перу.

\* \* \*

*К.Шакарян*

Всё полнится, полнится список потерь —  
Я сбился со счёту.  
Сфальшивить боюсь на разломе двух эр  
Трагичную ноту.

И разве что чудом оставшись в живых,  
Над временем плачу:  
Не как в девяностых, не как в нулевых —  
Всё будет иначе.

И к новой эпохе, и к новому дню  
Едва подготовясь,  
Я прежнее время своё хороню —  
Печальная повесть.

Каким оно ни было, стало моим —  
До клеточки крови,  
И вот превращается в пепел и дым,  
Черней и багровой.

И детство уплыло за девять морей,  
И юность — куда-то...  
А солнце пронзительней, солнце острей  
В минуту заката.

Жалея о том, что навек потерял,  
И сам не замечу,  
Как солнца последнего огненный вал  
Несётся навстречу.

### *Дорога в Ферпонтово*

*В.Нацентову*

Деревьев острые макушки  
В густом заснеженном лесу,  
И редко-редко деревушки  
В вечернем светятся часу.  
Здесь, в нелюдимой глухомани,  
Глубокий северный покой,  
И на большие расстоянья  
Вдали от жизни городской —  
Непроходимые болота,  
Непроходимые снега.  
Как бы овеяна дремотой,  
Идёт за Вологду тайга...

Вдруг в этой дымке бело-чёрной  
В ещё нехоженной зиме  
Высокий храм нерукотворный,  
Как крепость, вырос на холме:  
От тверди до небесных высей  
Среди лесов в земной глуши  
Живые фрески Дионисий  
Оставил на помин души.  
Куда бы ни вела дорога  
И как бы ни терялся след,  
Нет в мире мест пустых для Бога,  
Как мёртвых душ для Бога нет.

### *Апокалиптическая песнь*

Топот бледного коня,  
Вечности бессмертный трепет...

*А. С. Пушкин*

...Второй уже всадник по миру летит —  
Нас топчет копытами вслед за чумою,  
И с каждой жертвой растёт аппетит.  
Нам выпало вымолчать время немое.

Дожить бы, дожить бы до светлых времён,  
А там, не растратив в себе человека,  
Припомнить как страшный, мучительный сон  
Двадцатые годы текущего века.

Всё было взаправду на фоне войны —  
Любови и дружбы бесценные наши,  
Но что перевесит — семьи ли, страны  
На чутких весах две качнувшихся чаши?

Когда же, даст Бог, не случится *конца*  
На нашем веку — в смысле истинном, высшем,  
То, как Дионисий, по воле Творца  
Небесными красками землю распишем!

*Игорь Клев*

## Корсо

Сперва обозначим место действия и время: Львов, Львув, Лемберг, Львив, Ль-wow.

В Советском Союзе имелись две имитации «заграницы» естественного происхождения и карманного формата для туристических и кинематографических целей. Для стран строгого протестантского севера — это города Рига и Таллин, а для барочных центрально-европейских и юго-западных католических — Львов и Вильнюс.

Внешний облик Львова и труппы исполнителей на исторических подмостках неоднократно менялись. Основанный русскими князьями, город был потерян ими, оставив по себе деревянный детинец на крутой горе и такой же деревянный посад под городскими стенами, перенесенный польскими королями на новое место — к подножию Замковой горы с одевшимся в камень Высоким Замком, в подземельях которого после разгрома крестоносцев под Грюнвальдом томились полсотни немецких рыцарей в ожидании выкупа. В этом месте дополнительной преградой, защищавшей Львов от нашествий, служила заболоченная низина Полтвы с притоками, за которой новые хозяева, овладевшие городом и краем при Казимире Великом, принялись возводить укрепления из ломаного камня. Об этом короле историками говорилось, что он «застал Польшу деревянной, а оставил каменной», заслужив от своевольничавшей шляхты, которую серьезно приструнил, злое прозвище «короля холопов». Он проводил политику выведения городов из-под власти местных феодалов и собственных старост, жалуя горожанам магдебургское право. Привлекая в страну многочисленных переселенцев, колонистов и инородцев предоставлением им четко оговоренных прав и льгот и своего покровительства, он тем самым способствовал росту городов и развитию в них ремесел, торговли и просвещения. Практиковал также передачу пустующих бесхозных земель во владение польским крестьянам. То есть мыслил государственно и делал прямо противоположное тому, что стало здесь происходить после смерти этого последнего из Пястов и, особенно, с началом Реформации и Контрреформации.

После возведения наружной крепостной стены по периметру Львова и предоставления ему магдебургских привилегий — городского самоуправления и права склада, по которому иноземные купцы обязаны были выставить привезенные ими и транзитные товары на две недели для продажи оптом, а местные торговцы имели право их купить, перепродать или сами продавать уже в розницу, — управление этим космополитичным городом далеко не сразу полонизировалось. Сперва оно

---

*Клев Игорь Юрьевич* — прозаик, эссеист, критик, переводчик, редактор. Родился в 1952 году в Херсоне (УССР). Окончил филфак Львовского университета. Работал реставратором. Публиковался в «Дружбе народов», «Знамени», «Новом мире» и других журналах. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Москве.

латинизировалось и онемечилось, а торговая жизнь в нем арменизировалась и «ожидовела», оставив за коренным православным населением галицкой Руси (рутенами-русинами-руськими) лишь право продавать горожанам провизию и торговать солью из карпатских копален и солеварен, что, впрочем, приносило недурной доход в прежние века. Сумрачный архитектурный облик города после грандиозного пожара внутри городских стен, в котором выгорело все, что могло гореть, неожиданно италянизировался и посветлел, когда искусство Ренессанса только начинало входить в моду. Город продолжил возводить все более грозного вида крепостную стену с оборонительными башнями и опоясываться валами и рвами, а предместья бурно расплозились вширь и разрастались под его защитой. Он стремительно богател на транзите товаров отовсюду и процветал, но недолго. После захвата османами Константинополя, Крыма и Причерноморья, когда оборвались прямые торговые связи с Востоком, и серии разорительных войн и нашествий последующих двух столетий, когда городу, чтобы избежать худшей участи, неоднократно приходилось откупаться от захватчиков, выплачивая огромные контрибуции очередным татарам, туркам, войскам Хмельницкого и Карла XII, его бывшее торговое значение понемногу сходило на нет. После раздела Польши австрийцы радикально перепланировали и упорядочили его: разобрали ставшие ненужными крепостные стены с башнями, срыли валы и засыпали ими рвы и болота, речку упрятали под землю, разбили бульвары и много чего долговечного и ценного построили в городе. Но все их усилия и труды полутора веков не помогли им присвоить его навсегда.

Возможно, из-за переименования ими в бюрократическом угаре и от балды города Льва не в немецкий Лёвенбург, а в безродный и семантически бессмысленный Лемберг (название которого не смогли бы объяснить даже львовские ашкенази, в диалектном идише которых слово «лем» встречается хотя бы в виде фамилии). Можно предположить, что конический холм над Львовом и болотистая низина у его подножия показались когда-то кому-то похожими на рельеф и ландшафт местности в предгорье австрийских Альп, швабской Юры, где существует гора с таким названием (как известно, «берг» по-немецки «гора», а «лем» — якобы на древнекельтском наречии «трясина, топь, грязь» у ее подножия), и прижившееся в просторечии переселенцев и новожилов прозвище вытеснило славянское имя города, данное ему при рождении. Вдобавок свой Лемберг новые хозяева назначили номинальной столицей другой административно-грамматической химеры и фикции — Королевства Галиции и Лодомерии (Владимирщины, по-русски Волыни, неоднократно служившей предметом раздора вереницы канувших княжеств и королевств).

Нельзя исключить, что из-за утвердившегося повсеместно лингвистического произвола и слишком вольного обращения с языком распалась связь времен, и в результате полыхнуло в Первую мировую так, что перевоевали все со всеми: империи, государства, этносы, классы и толпы. Всякий раз при этом, для порядка и за компанию, побивая евреев, отчего множество говоривших на языке идиш ашкеназов, чьи предки некогда устремились на восток от преследований и притеснений в родимой Неметчине, хлынули в обратном направлении из своих местечек и городов, стараясь снять жильё и обосноваться, если повезет, в центре германской столицы поблизости от вокзала на Александерплац, куда прибывали поезда с востока, не подозревая, чем вскоре это может обернуться для них в разоренной и униженной стране, потерпевшей поражение в мировой войне. Иначе и быть не могло там, где сходятся и с грозным скрежетом вращаются шестерни цивилизаций и трутся жернова культур, что перемалывают в муку и пыль, не отделяя зерен от плевел, судьбы народов и людей.

Не прошло и четверти века, как после следующей и еще более чудовищной мировой войны польско-еврейский, торгово-финансовый и развлекательный Львов перестал быть таковым, на полвека сделавшись советско-украинско-русским индустриальным Львовом, оставшись таким же мещанским и межеумочным,

по существу. После чего, считай бескровно, стал сугубо западно-украинским и через пару десятилетий превратился понемногу в весьма заманчивый по соотношению цены и качества туристический аттракцион. Какое-то время это позволяло части местного населения обеспечивать занятость и неплохой заработок, но никогда еще не приносило счастья туземцам и аборигенам, лишая их самостоятельности, превращая в обслуживающий персонал и способствуя развитию паразитизма. Для этого Львів (как, не очень считаясь с украинской грамматикой, полтора года назад решили его звать враждовавшие с москвофилами деятели львовского НТШ) оставалось только переименовать в Lviv (как предлагалось горячими сторонниками отказа от кириллицы), когда бы в галичанах не взыграло ретивое и не захотелось им «перевоевать войну» (по выражению одного советского писателя и военкора), отправив на восток городскую бедноту и село, поскольку «дело прочно, когда под ним струится кровь» (как некогда писал поэт Некрасов). Правда, несколько охолонули и принялись разбегаться, когда восемь лет спустя начали сами пропадать без вести или возвращаться «грузом 200» в места постоянного проживания и прописки к удивлению земляков. Однако грамматика может отдыхать, никакие доводы не действуют и слова не доходят до слуха, когда плод начинает двигаться по родовыводящим путям запоздалого этногенеза, желая народиться на свет. Слышавшие краем уха об американском немом фильме с громким названием «Рождение нации» стали так называть и происходящее сто лет спустя на Украине, отчего-то полагая, что она может, должна и обязана сделаться однородной и стерильной. Тогда как все существующие ныне государства, страны и даже города складывались, перекраивались и сшивались из разнородных частей, напоминая этим неоднократно перелицованный и латанный-перелатанный тришкин кафтан.

Остается надеяться, что городская среда рано или поздно урбанизирует и «переурбанист» свое население, но сколько поколений для этого потребуется и к чему приведет — вопрос спорный. Наглядным тому подтверждением участь дичающих по мере расплзания мегаполисов и агломераций в современном мире. Глядишь, неровен час, и крепостные стены могут вернуться — и уже возвращаются в том или ином виде. Когда границы трещат, опять война на дворе и рождение нации в вышиванках все больше походит на очередной выкидыш.

Возможно, от плачевной участи город Львов все же уберезет в будущем его неброская красота, над которой потрудились столько народов и поколений. Понимаю огорчение поляков, не раз слышал стенания и восторги, не очень доверяя им когда-то, интуристов, эмигрантов, приезжих из разных мест, а порой и от земляков: «Какой красивый город!» Слышал и обратное — о «зловещей красоте» этого города, пропитанной австро-венгерским ядом декаданса.

Поступавший со мной в университет дембельнувшийся абитуриент из Черкасс просто физически в нем страдал и задыхался: «Серо, сыро, душно, тесно — не могу, домой хочу! Вот у нас выйдешь на широкий проспект над Днепром — кругом белеют новостройки, высокое небо, простор, жить хочется!» Он не поступил тогда на русский девичий филфак — не взяли парня в будущие учителя словесности с вполне реальной перспективой дорасти до завуча или даже школьного директора, если получит партбилет. На первом экзамене он выбрал беспроигрышную, казалось бы, тему сочинения — «Ратный и трудовой подвиг советского народа», но, покучав и измучив лист бумаги, с ней не справился и, получив троячок, отбыл восвояси.

Мне повезло, что одной из предложенных тем для сочинений была (уж не помню какая, да и значения не имеет) о Маяковском, моем любимом поэте в ту пору, и за свою пятерку, приложив купленный за полрубля в кассе общественной бани талончик, я получил от декана факультета, в молодости пописывавшего стишки на мове, направление в обшарпанную студенческую общагу за главпочтамтом и койку с клопами на срок вступительных экзаменов.

Главный секрет обаяния и странной любви к этому неухоженному, неряшливому и на протяжении веков много раз переходившему из рук в руки городу сумела выразить и выдать на гора славистка из Базеля и вторая жена моего близкого друга, — выросшего на Донбассе и стяжавшего в Москве громкую славу русского поэта, эмигрировавшего в последний год существования СССР: «Вы не понимаете, здесь все еще живое — какой была и Швейцария лет пятьсот назад!..»

И я понял тогда: то был стон настигавшей их любви. Только не к самому городу, думаю, а к жизни — ее пульсации в живописном старинном городе, что знавал лучшие и гораздо худшие времена и послужил лишь подмостками для пробудившихся вдруг и нахлынувших на них чувств, обещавших неслыханные переживания.

\* \* \*

Однако пора возвращаться к заявленной в названии теме — львовскому Корсо времен нашей молодости. Это красивое итальянское слово сделалось нарицательным, когда так стали называть главную торгово-развлекательную улицу для променада не только в Риме, но и в других европейских городах, со всевозможными ответвлениями и заведениями: ресторанами, кафешками, киношками, с огороженными уличными террасами и крытыми торговыми пассажами. В мировых столицах ее могли называть еще золотой милей, а в советском просторечии попросту стометровкой, или совсем уж в дырах и без всяких ответвлений — бродвеем.

Львовское Корсо было около полумили длиной и состояло из двух бульваров, нанизанных подобно часовым стрелкам в положении без четверти четыре на колонну памятника Мицкевичу, где босоногий парящий ангел бряцал на лире, навевая культовому польскому поэту вещие сны и помогая находить нужные слова и рифмы. Уже в Москве как-то на меня произвела впечатление кинохроника 1915 года, где последний русский царь со свитой, направляясь к этой колонне, переходил тогдашнюю улицу имени эрцгерцога Карла Людвига (с убийства сына которого годом ранее началась мировая война) с бегающим по ней трамвайчиком, которую переименовывала почем зря всякая новая власть и которая теперь зовется проспектом Свободы, а не Ленина, как тридцать лет назад. Другой центральный бульвар, — с не лишенным изящества прогибом, как у ятагана или птичьего крыла, при поляках звавшийся улицей Академической и подвергшийся переименованию советской властью, с идеологическим прицелом и для симметрии, в проспект Шевченко, — свое название покуда сохраняет.

Когда-то он заканчивался у бывшей кофейни «Шкотской», шотландской то есть, с большим арочным окном в торце похожего на замок здания с эркерами и башенками. В этом заведении по субботам собирались, чтобы обсуждать неразрешимые математические проблемы мирового значения и спорить, испещря химическими карандашами беломраморные столешницы, гениальные выпивохи легендарной львовско-варшавской школы во главе с Банахом, перепить которых в тогдашней Центральной Европе смог бы разве что десант чешских сюрреалистов и Пражского лингвистического кружка во главе с нашим Ромкой Якобсоном, если правильно сдвинуть столы и расширить список тем для обсуждения.

То был недолгий межвоенный период общего замешательства и помешательства — расцвета несбыточных и жестоких утопий, оптимистической философии неопозитивизма и депрессивного искусства ретроавангарда на обломках Австро-Венгерской империи. Он оказался на удивление плодотворным и породил, в частности, графику и книги Шульца, а в послевоенное время взрастил прозу Грабала и мультипликацию Шванкмайера, театр Кантора и абсурда, повлиял как-то на фантастику и футурологию Лема и целую плеяду карикатуристов, плакатистов, фотографов, киношников и прочие озимые всходы оттепели и весны в социалистическом лагере.

А через дорогу тогда с постамента на травяном газоне взирал с прищуром на философскую пивную и бульварных гуляк, откинувшись на стуле, польский комедиограф

*Владимир Высоцкий*

## «Как корабли из песни»

### *Судьба поэта*

Люди выбирают себе певца.

Кто знал, что этот выбор коснётся коренастого паренька со светлой прядкой на лбу, с поднятым воротником сутулящейся куртки?

Чуть помедленнее, кони,  
Чуть помедленнее...

Это великая песня и великая поэзия, где голос, отбросив гитару и смыв с губ бытовую усмешку, оторвавшись от пластикового диска «Мелодии», отдаётся высочайшему духу поэзии, стихии и правде страданий — не шансонье, а судьбу поэта слышим мы в ней.

Коль дожить не успел, так хотя бы допеть...  
Чуть помедленнее...

Но кони несли, как несли его кони!

Для сельского сердца Есенина загадочной тягой были цилиндр и шик автомашины, для Высоцкого, городского сорванца, такой же необходимостью на грани чуда стали кони и цветы с нейтральной полосы.

В нём нашла себя нота городских окраин, дворов, поспешно заасфальтированной России — та же российская есенинская нота, но не крестьянского уклада, а уже нового, городского. Поэтому так близок он и шофёру, и генералу, и актрисе — детям перестроенной страны.

Я встретил его впервые в 1965 году, когда «Таганка» ставила «Антимиры». Был он так, один из таганцев, в вечно подростковой куртке своей, в арсенале его было пять-шесть песен. Но огромная затаившаяся энергия уже угадывалась в нём.

Это было задолго до того, как вся страна томительно ворочалась, опутывая его, подобно Лаокоону, магнитофонными плёнками.

Но голос его уже хрипел на ветру времени.

Когда пел он, за него страшно становилось: он бледнел исступленной бледностью, мукой было глядеть на него — казалось, не голос сорвётся сейчас, горло перервётся, он рвался изо всех сил, из всех сухожилий; в эти минуты он становился поэтом.

Стихи он читал не по-актёрски, а как поэты читают — такова вся таганская школа, — не выстраивая смысл повествования, а выпевая интонационный нерв стиха, суть стиховой стихии.

Иногда мы выступали с ним на вечерах, он пел, я читал — особенно запомнился ревуший зал «Комаудитории» университета, куда он принёс свои спортивные



песни, — но это были вечера не песен, а поэзии, ибо за джинсовой курткой его уже стояла судьба поэта.

Повторяю, он был тих в жизни, добр к друзьям, деликатен, подчёркнуто незаметен в толпе, его все любили, что редко в актёрской среде, но гибельность сопровождала его, и не в переносном смысле, а в буквальном.

Дважды его реанимировали. Помню, однажды спас его врач Л.О.Бадалян, самозабвенный друг поэзии. Высоцкий три минуты был «на том свете». Тогда я написал «Реквием» по нему. Его напечатала «Дружба народов».

О златоустом блатаре рыдай, Россия!  
Какое время на дворе — таков мессия.

Когда приезжала русая французская русалка, он просил меня читать ей эти стихи. Трудно писать ещё о нём, такая мука слушать его диски — так жив он во всех нас. Смерть его просветила даже снобов. Многие нынче повернулись к нему, появилось много прекрасных стихов его памяти. Это хорошо. Хорошо, когда цветы ложатся на могилу, но как они нужны ему были при жизни! Неужто умереть надо, чтобы люди поняли и поверили?

Мать его, Нина Максимовна, сокрушённо рассказывает, что могилу его на Ваганькове постоянно обворовывают, мародёры снимают несметный урожай его цветов, может быть, мурлыча про себя его песни.

Художники наивны.

Высоцкий страстно, по-мальчишески мечтал напечататься. Он наивно хотел стать членом Союза Писателей. Хотел свои певчие строфы, как птиц, запереть в металлическую сетку печатного шрифта. Удалось однажды напечатать его в «Дне поэзии». Сейчас сыплются его публикации, порой поспешно составленные, но в них оживает мир певца. Он был тонко образован. Любил Бальмонта, В.Иванова, Мандельштама. Их культуру он наполнял живой нынешней речью.

Сколько писали о Гамлете!

Я — Гамлет. Холодеет кровь...

И Блок, и Цветаева — их великие Гамлеты — маски духа. «Гамлет» Высоцкого — Гамлет изнутри, это исповедь поэта, работающего Гамлета, он пахнет потом профессии, житейской судьбой. Пастернак, переводя «Гамлета», задумывался над неким новым Гамлетом — уличным. Таким сыграл его Высоцкий — таганский Гамлет с гитарой.

По людскому обычаю на сороковой день после смерти я написал строки, ему посвящённые:

Наверно, ты скоро забудешь, как жил на краткой земле.  
Ход времени не разбудит оборванный крик шансонье.  
Несут тебе свечки по хляби.  
И дождик их тушит, стуча.  
На каждую свечку — по капле.  
На каждую каплю — свеча.

Подобранные здесь редакцией «Дружбы народов» стихи — не обычные литературные произведения. Перед вами, дорогой читатель, куски жизни и судьбы Владимира Высоцкого. Будьте бережны и внимательны к ней.

*Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ*

*Из дорожного дневника*

Ожидание длилось,  
а проводы были недолги.  
Пожелали друзья:  
«В добрый путь, чтобы всё без помех».  
И четыре страны  
предо мной расстелили дороги,  
и четыре границы  
шлагбаумы подняли вверх.  
Тени голых берёз  
добровольно легли под колёса,  
залоснилось шоссе  
и штыком заострилось вдали.  
Вечный смертник — комар  
разбивался у самого носа,  
превращая стекло лобовое  
в картину Дали.

Сколько смелых мазков  
на причудливом мёртвом покрове,  
Сколько серых мозгов  
и комарьих раздавленных плевр!  
Вот взорвался один,  
до отвала напившийся крови,  
Ярко-красным пятном  
завершая дорожный шедевр.

И сумбурные мысли,  
лениво стучавшие в темя,  
всколыхнулись во мне —  
ну, попробуй-ка останови.  
И в машину ко мне  
постучало военное время.  
Я впустил это время,  
замешенное на крови.  
И сейчас же в кабину  
глаза из бинтов заглянули  
и спросили: «Куда ты?  
На Запад? Вертайся назад...»  
Я ответить не мог:  
по обшивке царапнули пули.  
Я услышал: «Ложись!  
Берегись! Проскочили! Бомбят!»  
И исчезло шоссе —  
мой единственный верный фарватер.  
Только елей стволы  
без обрубленных минами крон.  
Бестелесный поток  
обтекал не спеша радиатор.

Я за сутки пути  
не продвинулся ни на микрон.  
Я уснул за рулём.  
Я давно разомлел до зевоты.  
Ущипнуть себя за ухо  
или глаза протереть?  
Вдруг в машине моей  
я увидел сержанта пехоты.  
«Ишь, трофейная пакость, — сказал он, —  
удобно сидеть».  
Мы поели с сержантом  
домашних котлет и редиски.  
Он опять удивился:  
«Откуда такое в войну?»  
Я, браток, — говорит, —  
восемь дней как позавтракал в Минске.  
Ну, спасибо, езжай!  
Будет время, опять загляну...»  
Он ушёл на Восток  
со своим поредевшим отрядом.  
Снова мирное время  
в кабину вошло сквозь броню.  
Это время глядело  
единственной женщиной рядом.  
И она мне сказала:  
«Устал? Отдохни — я сменю».  
Всё в порядке. На месте.  
Мы едем к границе. Нас двое.  
Тридцать лет отделяет  
от только что виденных встреч.  
Вот забегали щётки,  
отмыли стекло лобовое.  
Мы увидели знаки,  
что призваны предостеречь.  
Кроме редких ухабов,  
ничто на войну не похоже.  
Только лес молодой  
да сквозь снова налипшую грязь  
два огромных штыка  
полоснули морозом по коже,  
остриями — по мирному —  
кверху, а не накреньясь.  
Здесь, на трассе прямой,  
мне,  
не знавшему пуль,  
показалось,  
что и я где-то здесь  
довоёвывал невдалеке.  
Потому для меня  
и шоссе, словно штык, заострялось,  
и лохмотия свастика  
болтались на этом штыке.

## Мой Гамлет

Я только малость объясню в стихе,  
на всё я не имею полномочий...  
Я был зачат, как нужно, во грехе —  
в поту и в нервах первой брачной ночи.

Да, знал я, отрываясь от земли:  
чем выше мы, тем жёстче и суровой;  
я шёл спокойно прямо в короли  
и вёл себя наследным принцем крови.

Я знал — всё будет так, как я хочу.  
И не бывал в накладе и в уроне.  
Мои друзья по школе и мечу  
служили мне, как их отцы — короне.

Не думал я над тем, что говорю,  
и с лёгкостью слова бросал на ветер.  
Мне верили и так, как главарю,  
все высокопоставленные дети.

Пугались нас ночные сторожа,  
как оспую, болело время нами.  
Я спал на кожах, мясо ел с ножа  
и злую лошадь мучал стремями.

Я знал, мне будет сказано: «Царуй!»  
Клеймо на лбу мне рок с рожденья выжег.  
И я пьянел среди чеканных сбруй,  
был терпелив к насилью слов и книжек.

Я улыбаться мог одним лишь ртом,  
а тайный взгляд, когда он зол и горек,  
умел скрывать, воспитанный шутком.  
Шут мёртв теперь... «Аминь! Бедняга Йорик!»

Но отказался я от дележа  
наград, добычи, славы, привилегий:  
вдруг стало жаль мне мёртвого пажана...  
Я объезжал зелёные побег.

Я позабыл охотничий азарт,  
возненавидел и борзых, и гончих.  
Я от подранка гнал коня назад  
и плетью бил загонщиков и ловчих.

Я видел: наши игры с каждым днём  
всё больше походили на бесчинства.  
В проточных водах по ночам, тайком  
я отмывался от дневного свинства.

Я прозревал, глупея с каждым днём,  
и — прозевал домашние интриги.  
Не нравился мне век и люди в нём  
не нравились. И я зарылся в книги.

Мой мозг, до знаний жадный, как паук,  
всё постигал: неподвижность и движенье,  
но толку нет от мыслей и наук,  
когда повсюду им опроверженье.

С друзьями детства перетёрлась нить.  
Нить Ариадны оказалась схемой.  
Я бился над словами «быть — не быть»,  
как над неразрешимой дилеммой.

Но вечно, вечно плещет море бед.  
В него мы стрелы мечем — в сито просо,  
отсеивая призрачный ответ  
от вычурного этого вопроса.

Зов предков слыша сквозь затихший гул,  
пошёл на зов — сомненья крались с тылу,  
груз тяжких дум наверх меня тянул,  
а крылья плоти вниз влекли, в могилу.

В непрочный сплав меня спаяли дни,  
едва застыв, он начал расползаться.  
Я пролил кровь, как все. И, как они,  
я не сумел от мести отказаться.

А мой подъём пред смертью — есть провал,  
Офелия! Я тленья не приемлю.  
Но я себя убийством уравнивал  
с тем, с кем я лёг в одну и ту же землю.

Я Гамлет, я насилье презирал.  
Я наплевал на датскую корону,  
но в их глазах — за трон я глотку рвал  
и убивал соперника по трону.

Но гениальный всплеск похож на бред.  
В рожденье смерть проглядывает косо.  
А мы всё ставим каверзный ответ  
и не находим нужного вопроса.

### Ямщик

Я дышал синевой,  
белый пар выдыхал...  
Он летел, становясь облаками.  
Снег скрипел подо мной,  
поскрипев — затихал,  
а сугробы прилечь завлекали.  
И звенела тоска,  
что в безрадостной песне поётся,  
как ямщик замерзал  
в той глухой незнакомой степи...  
Усыпив,  
ямщика  
заморозило жёлтое солнце.  
И никто не сказал:  
— Шевелись, подымайся, не спи!

Я шагал по Руси —  
до макушек в снегу,  
полз, катился,  
чтоб не провалиться.  
Сохрани и спаси!  
Дай веселья в пургу!  
Дай не лечь, не уснуть,  
не забыться.  
Тот ямщик-чудодей  
бросил кнут и —  
куда ему деться?! —  
помянул о Христе,  
ошалев от заснеженных вёрст.  
Он, хлеща лошадей,  
мог бы этим немного  
согреться...  
Ну, а он в доброте их жалел,  
и не бил, и замёрз.

Отраженье свое  
увидал в полынье —  
и взяла меня оторопь: в пору б  
оборвать житие,  
я по грудь во вранье!  
Выпить штоф напоследок —  
и в прорубь.  
Хоть душа пропита —  
ей там, голой, не выдержать  
стужу.

В прорубь надо да в омут,  
но — сам, а не руки сложа.  
Пар валит изо рта...  
Эх, душа моя рвётся наружу!  
Выйдет вся — схороните,  
зарезусь — снимите с ножа.

Снег кружит над землёй, над страной моей.  
Мягко стелет, в запой  
зывает...  
Ах, ямщик удалой!  
Пьёт и хлещет коней!  
А не пьяный ямщик замерзает...

\* \* \*

Сначала было слово  
печали и тоски.  
Рождалась в муках творчества планета,  
рвались от суши в никуда  
огромные куски  
и островами становились где-то.

И, странствуя по свету,  
без фрахта и без флага,  
сквозь миллионолетья, эпохи и века,  
менял свой облик остров,  
отшельник и бродяга,  
но сохранял природу и дух материка.

Сначала было слово,  
но кончились слова.  
Уже матросы землю заселяли,  
и ринулись они по сходням  
вверх на острова,  
для красоты назвав их кораблями.

Но цепко держит берег,  
надёжней мёртвой хватки,  
и острова вернутся назад наверняка.  
На них царят морские,  
особые порядки,  
на них хранят законы и честь материка.

Простит ли нас наука  
за эту параллель,  
за вольность толкований и теорий?  
А если уж сначала было  
слово на земле,  
то это, безусловно, слово «море»!

\* \* \*

И снизу лёд, и сверху — маюсь между,  
пробить ли верх иль пробуравить низ?  
Конечно, всплыть и не терять надежды,  
а там за дело в ожиданье виз.

Лёд надо мною — надломись и тресни!  
Я весь в поту, как пахарь от сохи.  
Вернусь к тебе, как корабли из песни,  
всё помня, даже старые стихи.

Мне меньше полувека — сорок с лишним,  
я жив,  
двенадцать лет тобой и господом храним.  
Мне есть что спеть, представ перед всевышним,  
мне есть чем оправдаться перед ним...

*Июнь 1980*

*Публикация Марины ВЛАДИ  
«ДН», 1982, № 1*



# *Жизнь в литературе*

---

*Владимир Гандельсман*

## ВЫЕМКИ И ВЫКЛАДКИ

\* \* \*

Статья о Мандельштаме и Бродском — «Оси координат».

\* \* \*

Есть религиозный и атеистический пути в искусстве. Им соответствуют: смирение и бунт. Смирение принимает тот язык, который есть. Религиозный человек принимает мир, сотворенный не им — Богом. Каков бы он ни был. Бунт создает свой язык. Никакого Бога. Всё делаем заново.

\* \* \*

Если ты стучишься в дом, никогда не войдешь. Потому что там никого, кроме тебя, нет, а ты из-за стука не услышишь.

Два вывода: 1. В дверь стучаться — в дом не войти. 2. Войти в дом можно, только открыв дверь.

\* \* \*

Крохотный городок. Сельмаг. Церковь в основном на замке. Кладбище, на котором покоится много больше людей, чем живёт вокруг. Матч выигран с большим перевесом.

\* \* \*

Смущённое свидание с девушкой в фетовском «Зное» заканчивается строфой:

И как будто истомую жадной  
Нас весна на припёке проггла,  
Только в той вон аллее прохладной  
Средь полудня вечерняя мгла...

Из ничего сделано всё. (Мгновенно вспоминается из Георгия Иванова: «Только в мутном пролёте вокзала, / мимолётная люстра зажглась...»)

Вообще — существенность его концовок. Как в «Упрёком, жалостью внушённым...»:

О, я блажен среди страданий!  
Как рад, себя и мир забыв,  
Я подступающих рыданий  
Горячий сдерживать прилив!

И ещё в пандан к словам «в той вон аллее» в другом стихотворении Фета:

Ласточки пропали,  
А вчера зарей  
Всё грачи летали  
Да как сеть мелькали  
*Вон над той горой.*

Это указание потом поддержит Набоков: «...Запомнишь вон ласточку ту?»

Вечности указывают, где она должна быть: здесь и сейчас — над *той* горой и в *этой* ласточке.

\* \* \*

Женщина после смерти любимого (и известного) мужа, лет через 20, в интервью: «Лишний кусок жизни остался».

\* \* \*

Ноев ковчег — больной зуб.

\* \* \*

Бывает, моешь посуду, а она не кончается.

\* \* \*

Я думаю, простая гениальность Пушкина недоступна не только школьникам, но и неопытному взрослому читателю. Школьников мучают образами Татьяны, Ленского, рассказывают, что Онегин нехороший человек и т.д., а потом школьник становится тем самым «неопытным взрослым».

Говорить надо о самих стихах.

Объяснить, почему так прекрасна пушкинская речь, невозможно, но то и дело я предпринимаю рациональные попытки это сделать. Вот из «Онегина»:

И так они старели оба.  
И отворились наконец  
Перед супругом двери гроба,  
И новый он приял венец.  
Он умер в час перед обедом,  
Оплаканный своим соседом,  
Детьми и верною женой  
Чистосердечней, чем иной.  
Он был простой и добрый барин,  
И там, где прах его лежит,  
Надгробный памятник гласит:  
Смиранный грешник, Дмитрий Ларин,  
Господний раб и бригадир  
Под камнем сим вкушает мир.

Ясный покой, ровно длящийся. Какая-то целомудренная невозмутимость. Звук же не просто безукоризненный, нигде не выпирающий, но интуитивно мастерский.

Обратите внимание на третью строку от конца «Смиранный грешник, Дмитрий Ларин», на то, как этот «надгробный памятник» стоит на четырёх «р». Не стоит, а покоится. То же происходит с третьей строкой от начала: «Перед супругом двери гроба» — те же четыре «р». Нет, это не сознательный приём, не умышленная игра в симметрию. Это гениальный слух, и это стихи, запоминающиеся с первого прочтения.

\* \* \*

Особенная тоска в городах проездом.

Местные — как они живут? Туристу их жизнь представляется завершённой и даже конченной, поскольку расписана и разлинована в соответствии с жизнью их родни, с самим чертежом города, режимом учреждений и транспорта, тогда как у твоей нет здесь ничего предначертанного (судьбы). А что есть? Неизвестное и «чарующее» продолжение.

Та же ошибка восприятия у аборигена: турист — что за бессмыслица этот скучающий господин, учащённо заглядывающий в кафе, глазающий на витрины и зевающий на достопримечательности, или уже сытый и влачащийся ко сну?

Хорошо, если в таком восприятии преобладает жалость, а не презрение.

Причина ошибки? Отсутствие энергии, рассредоточенность, желание во что бы то ни стало удержаться на поверхности заведенного порядка общения. Нецелостное, фрагментарное существование, небрежность «чтения». Беглый раб самого себя, никогда не обретающий свободы. Пусть не грех, но он несомненная погрешность, которая есть залог прижизненной маленькой и добровольной смерти. «Заграница — маленькая смерть».

\* \* \*

Концовка пастернаковского «Лета»:

И это ли происки Мери-арфистки,  
Что рока игрою ей под руки лёг,  
И арфой шумит ураган аравийский,  
Бессмертья, быть может, последний залог.

В гениальных стихах звук опережает смысл, и опережает так, что смысл углубляется, не зная об этом.

Мандельштам услышал прежде всего звук, когда мимолётно, увидев в гостях книжку, прочитал эту концовку и воскликнул: «Гениальные стихи!» Он никак не мог знать тех смыслов, которые обнаружили потом исследователи. (Например, что Мери — это Зина, жена Нейгауза, которая из пианистки превратилась почему-то в арфистку... Почему? Потому что надвигался ураган аравийский, шумящий арфой. Действительно, чем еще шуметь урагану?)

Как только Пастернак вышел из звука, так сразу всё поблёкло в строке «бессмертья, быть может, последний залог».

Характерная черта Бориса Леонидовича в записи о поэме Маяковского «Человек» в исполнении автора: «Вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности». Мало просто вдохновенности, ему подавай тавтологичное усиление: приподнятую вдохновенность. Но он знал, что говорил.

\* \* \*

У неё безвкусная фигура, но развитое обаяние.

\* \* \*

Женщина в мобильник: «Дыни пока в горшке, не знаю, пересаживать в землю или рано... А огурцы в этом году такие масенькие-масенькие...»

\* \* \*

Всю свою читательскую жизнь возвращаюсь к Фолкнеру. И всякий раз поражаюсь. Откуда ощущение, что это происходит в вечности? Оно возникает почти мгновенно,

с первой страницы. Мифологичность человеческой жизни. Её нетленное протяжение во времени. Как если бы речь шла о каких-то богах, хотя это самые простые люди.

Фолкнер переживает жизнь как что-то абсолютно значительное.

\* \* \*

Борис Годунов после известия, что в Кракове появился самозванец, и разговора с Шуйским, в котором он хочет увериться, что Дмитрий был воистину убит (ему ли не знать?!), произносит монолог:

Ух, тяжело!.. дай дух переведу...  
 Я чувствовал: вся кровь моя в лицо  
 Мне кинулась — и тяжко опускалась...  
 Так вот зачем тринадцать лет мне сряду  
 Всё снилось убитое дитя!  
 Да, да — вот что! теперь я понимаю.  
 Но кто же он, мой грозный супостат?  
 Кто на меня? Пустое имя, тень —  
 Ужели тень сорвёт с меня порфиру,  
 Иль звук лишит детей моих наследства?  
 Безумец я! чего ж я испугался?  
 На призрак сей подуй — и нет его.  
 Так решено: не окажу я страха, —  
 Но презирать не должно ничего...  
 Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

(Обращает ли внимание читатель на строки «вся кровь моя в лицо /мне кинулась — и тяжко опускалась...»?)

Этот монолог — одно из свидетельств того, как гениально Пушкин усвоил уроки Шекспира. Явление призрака, напоминающее явление Банко на пиру в «Макбете»... И весь строй монолога, и рифмованная концовка, как это бывает у Шекспира для выражения сильной эмоции.

Другой пример — сцена Самозванца и Марины Мнишек (чудесно, что в сцене дважды звучит её фамилия в преображенном виде: «Не мнишь ли ты...» — сначала этот оборот употребляет Марина, а затем Самозванец). Марину интересует Самозванец только в том случае, если он истинный царевич Дмитрий и сын Ивана Грозного. Сколько драматических поворотов на трех страницах! Признание Самозванца, что он не Дмитрий, отчаяние Марины и её угроза выдать его, затем резкий поворот Самозванца от любви к «Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?» И вновь надежда Марины на то, что трон будет у него, пусть он не истинный наследник престола...

Двойственная глубина сцены ещё и в том, что Марина не может знать точно, кто он. А если он проверял её любовь и хотел вызнаться, будет ли она любить в нём просто человека, а не Дмитрия?.. Нет, не будет.

Здесь Марина напоминает леди Макбет, для которой главное — захват мужем королевской власти.

Не знаю, указывал ли кто-нибудь на любопытный факт: «Макбет» писался между 1603 и 1606 годами, и это время — время действия в трагедии Пушкина, соответствующее историческим событиям.

\* \* \*

О Гоголе написаны тома, и эта писанина никогда не кончится, потому что разгадать его невозможно. Я предлагаю краткую и романтическую разгадку. Причём не только Гоголя.

Она — в «Портрете», в сцене, когда художник Чартков, замороженный и напуганный живыми глазами, глядящими на него с портрета, засыпает, а затем трижды

*Анна Воропаева*

## Дальний Восток: стирая границы

Если на школьной доске начертить разноцветными мелками несколько параллельных линий, а потом провести по ним ладонью, останутся ли линии прежними? Если несколько национальностей поселить на одной земле на продолжительный период времени, что из этого получится?

Дальний Восток — огромная территория, которая занимает около 40% площади нашей страны. Можно бесконечно восхищаться нашими богатыми природными ресурсами, величественно-опасными вулканами Камчатки, сверкающими алмазами Якутии или загадочным северным сиянием на Чукотке, но то, что делает Дальний Восток по-настоящему богатым — это люди.

Якуты, буряты, нанайцы, коряки, чукчи, эскимосы и другие коренные народности, а также татары, корейцы, евреи, украинцы, китайцы и, конечно же, русские, все мы — жители Дальнего Востока, и у каждого из нас — своя история жизни в этом разнообразном по культурным обычаями регионе, на Дальнем Востоке, в краю, где я родилась, выросла и куда вернулась после многих лет скитаний по чужеземным странам.

### *Миллионка*

В центре Владивостока есть кирпичное трехэтажное здание, построенное в виде колодца, с тусклым двором внутри. Приморские художники разрисовали его фасад в память о давних временах, когда в Миллионке бурлила жизнь. В XIX веке она представляла собой скопление фанз, в которых, набившись, как сельди в бочке, в нищенских и антисанитарных условиях жили рабочие-китайцы. На территории Миллионки процветали опиумные притоны, бордели и игорные дома. Она была пристанищем азиатской мафиозной группировки хунхузов. Этакий трупобный чайна-таун, или, если угодно, владивостокская Хитровка, куда можно было зайти и больше никогда оттуда не выйти... Городские власти упорно пытались выселить китайцев с захваченного ими места, но, несмотря на постановления думы, усилия чинов полиции и даже указания генерал-губернатора, сделать это не удавалось. Миллионка, названная от вроды бы «миллиона» китайцев (хотя жили в ней и корейцы,

---

*Воропаева Анна Владимировна* — китаистка. Родилась во Владивостоке в 1983 году, окончила факультет востоковедения ДВГТУ по специальности переводчик китайского языка и магистратуру Университета иностранных языков в китайском городе Далянь. Более 10 лет прожила в Китае. В настоящее время живет во Владивостоке, работает переводчиком и преподавателем китайского языка, занимается научной работой.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 6.

и японцы, и греки, и малоимущие русские, и вообще бог знает кто), оставалась на месте.

Надо отдать должное советской власти, она вытащила-таки «миллионную занозу». Все, что осталось от Миллионки в современном Владивостоке, — это то самое разрисованное здание, рядом с которым теперь располагается высокочеловеческий ресторан под названием «Миллионка». По теперь уже вполне уютным подворотням «владивостокского Арбата» с кафешками и магазинчиками проводятся экскурсии.

Но это дела давно минувших дней, я же хочу рассказать о том, что видела и знаю сама.

### *Кому в Приморье жить нелегко*

Когда я вспоминаю детство, перед глазами всплывает картинка, как в девяностых мы с мамой ходили на китайский базар покупать дешевые вещи. Помнится, тогда наши еще бедные соседи-китайцы хлынули мощным потоком на заработки в Приморский край, заполнив крытые синим брезентом лавки разноцветными «леггинцами» (так у нас тогда называли нынешние лосины) и непромокаемыми белыми «мойками», которые носили все поголовно, считая некачественную китайскую обувь шиком.

Прошло уже около тридцати лет, а китайский рынок на Спортивке<sup>1</sup>, как прозвали владивостокский чайна-таун местные жители, до сих пор существует. Только теперь кроме китайцев здесь обосновались еще и вьетнамцы, узбеки, таджики — иностранные граждане, которые решились приехать в наши далекие земли из дружественных стран Средней Азии. Такой вот вполне себе восточный базар.

Базар... Место, где взаимодействуют, смешиваются, сливаются культуры, традиции и обычаи. У каждого тут свое строго отведенное место под навесом. В закутке, гордо зовущемся «Салон красоты», вьетнамцы делают маникюр и новомодные стрижки. Не всегда, правда, получается ровно, зато живенько и по вполне демократичной цене. Тут же, в двух шагах от «салона», рыбный ряд, которым, кстати, заведуют русские. А вот мясной халяль и фрукты взяли на себя граждане Узбекистана.

Китайцы же в основном держат магазины одежды и бытовой техники. Кстати, с момента введения санкций и ухода с российского рынка известных иностранных брендов на китайском рынке... ничего не изменилось. Тут тебе и Nike, и Adidas, и Louis Vuitton с Versace — остается только выбирать, гордым обладателем какого бренда ты себя ощущаешь.

Ну, а изюминкой рынка на «Спортивной» является, конечно же, китайская кухня. Яркие вывески манят избалованных приморских гурманов.

«Добрыня и Аня» — самая горячая точка китайского питания. Пока остальные рестораны привлекают клиентов шутками да прибаутками, в открытые нараспашку двери «Добрыни и Ани» люди текут рекой. А все оттого, что хозяйка заведения знает секретный ингредиент, который кладется не в блюда (хотя я уверена, что и у ее повара тоже есть свои «примочки»), а в людские сердца. Каждый, чья нога ступает во владения хозяйки Ани, чувствует себя особенным. Улыбчивая китаянка с бизнес-хитрецей в глазах помнит каждого, кто к ней хоть раз заходил. Смекалистая лаобаньян<sup>2</sup> умудряется держать в голове не только имена своих клиентов (большинство которых, по мнению многих китайцев, на одно лицо, как и для некоторых русских все азиаты), но и их истории, вплоть до их увлечений, родственников, недугов и даже недугов их родственников.

<sup>1</sup> Рынок называется Спортивный, в обиходе Спортивка, по расположенной рядом автобусной остановке «Спортивная», которая, в свою очередь, была названа в честь стадиона, на котором теперь и находится сам рынок.

<sup>2</sup> Хозяйка, владелица (*кут.*).

— Сколько лет, сколько зим! — радостно приветствовала меня Аня на практически уже безукоризненном русском языке. — Отлично выглядишь!

— Да что ты, время бежит, — улыбнулась я в ответ.

Надо признаться, в последний раз я заходила в это местечко с полным набором всех возможных вредных, но вкусных жиров и калорий несколько лет назад и уж точно не ожидала, что приветливая лаобаньяня меня вспомнит. Но, как оказалось:

— Правда! Ты так красиво зубы сделала, — ничуть не смущаясь, тут же доказала свою хорошую память Аня. — Раньше у тебя была дырка между зубами. — И, вздохнув, добавила: — Ах, и мне бы своими заняться, — без стеснения демонстрируя свои кривенькие зубы.

— Ты тоже прекрасно выглядишь! — подключилась моя сестра. — Столько лет прошло, а ты совсем не изменилась. Прическа у тебя — класс!

— Да это я просто сегодня голову вымыла, — кокетливо ответила Аня, легким движением поправляя начес.

Я улыбнулась всеми своими новыми зубами — вполне себе разговор по китайским душам.

Базар много лет жил своей межнациональной жизнью, говорил с разными акцентами русского языка, пока кому-то из наших уважаемых чиновников не пришла в голову светлая мысль, что у братьев наших китайских жизнь слишком уж «мёдом кажется». И тут же состроили закон о том, что отныне китаец не может быть сам себе и продавцом, и лаобанем<sup>1</sup> в одном лице и обслуживать русских покупателей на чайна-русском диалекте. Закон гласил: даешь русского продавца! Никаких азиатских лиц на переднем плане!

Китайцы затылки почесали, убытки посчитали, да продавцов русскоязычных понабрали.

Ох уж этот русский язык! На какие только ухищрения не идут прибывшие на российскую землю иностранцы, чтобы получить сертификат о должном уровне знания великого и могучего. Узбеки пошли дальше всех и открыли «курсы русского языка». Почему в кавычках? Потому что курсы-то ненастоящие! А столкнулись мы с этими самыми курсами, когда моему тогдашнему молодому человеку Сене, китайцу по происхождению, понадобилась рабочая виза.

Сделать такую визу для китайца самому — задача почти невыполнимая. Хотя наши державы в последнее время по телевизору и демонстрируют крепкую дружбу и волю к сотрудничеству, на деле все выглядит немного по-другому. Дружить и сотрудничать легко получается разве что у хороших инвесторов и монополистов. А у простого люда выбор невелик. Тут либо выкладываешь кругленькую сумму и берешь все риски на себя, «если вдруг что», либо, если этой суммы нет и риски брать на себя все же не хочется, проходишь несколько кругов ада, имя которому — иммиграционная служба.

Иммиграционная служба города Владивостока — внешне ничем не примечательное двухэтажное здание в центре города. Но то, что это иммиграционная служба, становится ясно сразу, даже если ты в этом месте впервые, — по веренице граждан Средней и Восточной Азии, растянувшейся на несколько километров вдоль дороги.

И тут надо отдать должное узбекам, есть у них с китайцами что-то общее, умеют они деньги зарабатывать, в отличие от нас, русских. Народ в очередях стоит не по одному часу, и есть хочется всем. И вот они, через дорогу — шаверма с самсой и горячим чаем «У Фаруха».

А напротив иммиграционной службы, в соседнем здании, есть комнатка два на два метра, с самым важным для визы агрегатом — принтером. Тоже бизнес, открытый

---

<sup>1</sup> Хозяин, босс (*кит.*).

гражданами солнечного Узбекистана. По моему скромному разумению, иммиграционная служба ведет скрытую борьбу с решившимися приехать в Россию на заработки иностранцами. А с самой иммиграционной службой ведет борьбу устаревшая система зависающих компьютеров и нехватки кадров.

Как бы ты ни уточнял список документов, как бы ни пытался заполнить все необходимые формы правильно, зайдя в душное, благоухающее арабским парфюмом здание и отстояв огромную очередь, будь уверен, что строгая тетя за письменным столом обязательно развернет тебя за какими-нибудь дополнительными копиями какой-нибудь очень важной бумаги, например, свидетельства о сдаче экзамена на знание русского языка. И вот ты, измочаленный, почти потерявший надежду на продление визы и уже мысленно готовящийся к депортации, выбираешься из этой геенны огненной (потому что летом в помещении невыносимо жарко), а напротив большими буквами: «Копировальные работы у Навруза». Чем не дар божий?

Но вернемся к русскому языку и курсам. Сеня тогда по-русски говорил на уровне «знаю буквы». Как тут визу получить? Пришли мы в такой вот центр по обучению русскому языку («обучают» ему там, заметьте, представители Узбекистана). Сеня промямлил по-русски «сдастуйте», узбек, мгновенно поняв всю плачевность нашей ситуации, назвал некую сумму, сунул Сене бумажку с текстом, велел идти в угол, сесть на стул и тренироваться. Спустя два часа тренировки видео с записью Сениного «выступления» было отправлено в нужные для выдачи свидетельства органы.

Нелегко приходится у нас иностранцам, но они удивительным образом всегда находят лазейки и подстраиваются под наши строгие законы. Как говорится, крутятся и выживают.

К слову о «крутятся и выживают». Есть у нас одна знакомая семья китайцев. Приехали они в те же суровые девяностые. Аня и Ваня — так на русский лад звали супружескую пару. «Опять Аня? — скажете вы. — Совпадение?» Нет, за этим кроется другая история.

Представьте себе картину: в малюсеньком синем контейнере уютится несколько кособоких столиков, сколоченных на скорую руку, стены обклеены дешевой пленкой с видами водопадов, а в углу — корзина с искусственными цветами. Не хоромы, но отобедать можно. Сама кухня — пристройка два на два метра, из которой через прорезанное в контейнере окошко время от времени, как по волшебству, появляются руки повара с огромными порциями вкусно пахнущих блюд. Ни тебе воды, ни электричества, ни туалета. Это было самое первое кафе китайской кухни на Спортивке. И называлось оно «Добрыня и Аня».

Именно жена Вани и была первой лаобанян, которой достало смелости открыть подобное заведение, каким-то неисповедимым образом умудрившись совладать с нашими госструктурами и договориться с уважаемыми органами поборов суровых девяностых. Как хрупкой и миловидной китаянке это удалось, известно разве что иностранным гражданам из Средней Азии.

Но факт остается фактом: ресторан китайской кухни, похорошев, процветает по сей день, веселые кунички<sup>1</sup> зазывают прохожих, обещая «вкусно, дешево, большие порции, потому что ты моя подлуга», а из открытых нараспашку дверей вздыхает Григорий Лепс с рюмкой водки на столе и обещает «всё для тебя» любимец всех женщин Стас Михайлов.

Ваня пошел по более сложному пути, подавшись в преподаватели специализированной школы с углубленным изучением китайского языка. Позже выяснилось, что представление о преподавании китайского языка русским детям было

---

<sup>1</sup> Девушка (*кит.*). Куня — привычное обращение приморцев к китаянке, ошибочно кем-то воспроизведенное и вошедшее в обиход. Куничка — уменьшительно-ласкательное обращение.



у него довольно расплывчатым. Наши русские ребяташки сразу Ваню раскусили, и проявленные им по отношению к ним альтруизм и гуманность ничуть не оценили. Не привыкший к отсутствию дисциплины Ваня учителем был тихим, по-русски говорил плохо. Ни тебе четко поставленного командирского голоса, ни ругательств, ни метания мела через весь класс, и даже ни разу — указкой по столу.

Дело в том, что в Китае преподавание зиждется на трех китах: учитель — закон, у детей с утра до ночи зубрежка, родители права голоса не имеют. Все просто, организовано и с жесткой дисциплиной. С утра — хором гимн Китайской Народной Республики на спортивной площадке, зарядка, и не дай тебе бог забыть красный галстук — отправят восвоеси с позором в назидание другим.

Только мы-то не про Китай толкуем, а про Приморский край. Так вот, в той же самой школе, в классе моей младшей сестры, с тройбаном по китайскому языку учился кошмар всех перемен, мальчик по имени Вова, по совместительству сын учителя Вани. В силу своего непоседливого характера и охотно усвоенного русского свободомыслия Вова был частым гостем в кабинете директора. А уж как он доводил русскую учительницу китайского языка, поправляя ее произношение каждый раз, когда она с русским акцентом объясняла новые слова!.. В общем, Ваня, папа Вовы, так же, как и сын, у директора бывал как по расписанию и настаивал, чтобы с сына сдирали десять шкур, не щадя и не давая поблажек. И благодаря то ли беспощадным требованиям отца, то ли строгому воспитанию матери Ани, Вова вырос парнем толковым и прекрасно говорил на обоих языках.

Кстати, Вова был не единственным учеником-китайцем в школе. В надежде на то, что их дети смогут хоть как-то освоить родной язык, приморские работяги-бизнесмены из Поднебесной часто отдают своих детей в школы с «китайским уклоном», где те с завидным упорством получают по родному языку заслуженный трояк. «Как же так? Настолько сложный язык?» — спросите вы. А вы попробуйте постичь китайскую грамоту, будучи китайским ребенком, совсем не знающим русского языка, когда учитель преподает ее, китайскую грамоту... по-русски. К тому же и менталитеты у китайских и наших детей разные. Китайские дети привыкли к зубрежке. С самого детского сада они ровными строчками выводят иероглифы. У них вообще все зациклено на прописывании как можно большего количества информации от руки. Помнится, как-то дернул черт за ногу Сениного племянника не сделать домашнее задание по математике. Учитель заставил его переписать в тетрадь всю тему из учебника десять раз. Больше черт племянника за ногу не дергал, и все задания он сдавал вовремя.

Китайцы заточены на коллективный разум. У моей русской одноклассницы, когда мы с ней вместе учились в магистратуре в городе Далянь, сын посещал китайскую школу и постоянно приносил неуд по китайскому языку. А все оттого, что писал сочинения слишком вольно. «У вас странный ребенок, — говорила учительница его маме Наташе, — все дети пишут одинаково, а он что-то выдумывает». Менталитет. И как тут китайским детям понять нашу систему образования?

Однако Вова китайцем был особенным, потому как гражданство у него — русское. Дальновидная китайская мама Аня родила сына на территории Российской Федерации, и в соответствующем возрасте Вове был предоставлен выбор: гражданином какой из двух стран он предпочитает стать. Владимир Иванович Ван предпочел бордовый паспорт гражданина Российской Федерации.

Отучившись в школе, он был тут же направлен мудрой мамой в Канаду для продолжения образования и обеспечения благополучного места под солнцем для себя и своих родителей. Не знаю уж, что у них случилось, но позже мама Аня перебралась к сыну, оставив Ване в качестве приданого их общий российский семейный бизнес — небольшую гостиницу с довольно престижным китайским рестораном на первом этаже.

Как им это все удалось? Секрет успеха китайцев так же прост, как и секрет успеха многих граждан Узбекистана. Приезжая на чужую землю, проживая практически в нищенских спартанских условиях, они держатся друг за друга и много копят. Семья ли, друзья ли, соседи или просто знакомые — все на чужбине становятся родными.

Позже, когда Вова как-то приехал из Канады на каникулы повидать отца, я у него спросила, кем он себя все же ощущает, китайцем или русским? На что предпочитающий домашнюю китайскую еду Вова на чистом путунхуа<sup>1</sup> ответил, что он русский, а китайцы для него — нация с другой планеты. И где прикажете проводить черту между нациями, культурами и традициями? Не знаю, как вы, но я затрудняюсь.

Если на школьной доске начертить разноцветными мелками несколько параллельных линий, а потом провести по ним ладонью...

### *Симбиоз по-восточному*

Так же, как и в мире природы, в жизни людей симбиоз бывает разный. Взаимовыгодное сотрудничество — наиболее частое явление на территории Приморского края. Будучи людьми восточными и хорошо смыслящими в торговле, жители Поднебесной и граждане Узбекистана, например, тонким чутьем нашли общий русский язык друг с другом. И получился неординарный тандем двух абсолютно разных культур и верований, закрепившийся на территории нашего российского государства.

Помните тот самый закон: «Даешь русского продавца! Никаких китайско-азиатских лиц на переднем плане»? Ну так вот. Вести дела на рынке так, как ведут их китайцы, мы, русские, не привыкли. Кто ж его поймет, когда скидку надо сделать, когда чуть слишком спелый товар за подарок выдать. Русские продавщицы с их советской закалкой и опытом челночниц суровых девяностых слушать своего лаобаня попросту не хотели, а иногда с видом «знаем, плавали» еще и объясняли китайскому боссу, кто в доме хозяин. Недолго думая, китайцы в законе еще раз поковырялись да лазейку-то и нашли. Оказывается, формально продавец нужен был не русских кровей, а русскоговорящий! С тех самых пор и потек китайско-узбекский симбиоз по венам и артериям восточного базара. Сертификаты-то, слава богу, у всех узбеков имеются.

Но взаимовыгодное сотрудничество на этом не закончилось.

Дальневосточный гектар! Думаю, нет человека, который не слышал бы об этом заманчивом приглашении на бескрайние дальневосточные земли. И Приморский край, конечно же, не исключение. Мы даже когда-то с Сеней немного об этом помечтали, кадастровые карты с участками посмотрели, фигу через полгода после подачи заявления понюхали и больше к этой теме не возвращались. Но это мы такие горемыки-недотепы. Есть особый пласт людей, которым взять заветный гектар все-таки удастся. В основном это пасечники, которым ни электричества, ни дорог к участку вести не нужно. Вторую категорию счастливых землевладельцев я называю «гениями русского бизнеса». Дело в том, что, получив участок на определенный срок, нужно доказать, что ты его используешь, а это дополнительные вложения и труды, и не факт, что через этот «определенный срок» тебя сочтут своего участка достойным. Так вот, эти «гении» участков в глуши набрали да китайцам в аренду посдавали. Кто сказал, что это плохо? Земли не пустуют, китайские фермеры, привыкшие к суровым полевым условиям, наконец воплощают свою мечту обработать как можно больше бесхозных российских земель, а русские денежки зарабатывают. Есть, правда, одно «но!» — история с пестицидами, но это уже совсем другая история.

---

<sup>1</sup> Путунхуа — официальная норма китайского языка в КНР.

И самое интересное во всем этом виногретном симбиозе то, что способствуют сближению и сотрудничеству живущих на приморской земле наций наши глубокоуважаемые госслужбы. Сами того не подозревая, издавая новые законы, дабы не распоясывались тут граждане «понаехавшие», они зачастую получают эффект, прямо противоположный ожидаемому.

Один из примеров. «Помогайка». Вам знакомо такое слово? Наверняка нет. А вот любому жителю Приморского края — очень даже. И тут тоже не обошлось без госорганов. Закон гласит, что ты имеешь право провезти через границу из приграничных городов дружественного нам Китая вещи только для собственного пользования. Найдут товар в количестве, чуть превышающем законные ограничения, — штраф и изъятие, потому как это уже личная выгода.

А теперь представьте себе торговца-китайца, который от безысходности поехал на чужбину, чтобы прокормить семью. Не все ведь еще в Китае безбедно живут. Неподалеку от нашего дома есть торговый центр, к которому исправно приезжает повидавший виды маленький микроавтобус с ярко-красной наклейкой: «Ремонт обуви, замена замков на одежде». Хозяин этой неказистой мастерской — сторбленный сухопарый старичок. Стоит он у торгового центра каждый день и в жару, и в стужу. Руки у него золотые — хоть все в мозолях да в клее, — мастерит на славу и продает понемногу. «Отчего домой не едете? Разве не скучаете?» — как-то раз поинтересовалась я у него. «Когда уж тут скучать, — отозвался старичок, — семью кормить надо». Вот и весь сказ.

Я это вот к чему. Таких ремесленников и торговцев ширпотребом или дешевой китайской обувью довольно много на базаре. Так же, как и потребителей их товаров и услуг. Не всем же в Versace из соседней лавки ходить. Вопрос: как таким вот трудягам «по белому» ввозить необходимое да пошлины таможенные платить? Ну и придумали они схему: устраивать туры русских «помогаек» в приграничные города Китая. Поездка абсолютно бесплатная, оплачивается даже проживание в какой-никакой гостинице, а от русских туристов требуется лишь помочь перевезти товар вроде как «для себя», потому как выгоднее устроить двухдневный тур для «помогаек», чем платить таможенные пошлины. Конечно, наша таможня не лыком шита и все прекрасно видит, но закон есть закон: «для себя» — значит «можно».

Чего только не придумает коллективный межнациональный разум жителей Приморского края! Даже в научной сфере существует свой, так сказать, симбиоз. Дальневосточный трепанг известен своей пищевой полезностью, а также тем, что исчез из акватории Японского моря. Когда-то в бухте Золотой Рог водилось огромное множество этих склизких и на первый взгляд неприятных заморскому духу беспозвоночных. Но трепанг высоко ценится в Азии: и в Китае, и в Японии, и в Корее. Выловом трепанга китайцы промышляли задолго до того, как первые русские переселенцы ступили на земли Приморского края, отчего и прозвали город Владивосток Хайшэньвай, что в переводе с китайского значит — Бухта трепанга. Так вот, с 2013 года вылов дальневосточного трепанга был запрещен, а сам редкий представитель акватории занесен в Красную книгу. В местных профильных институтах были введены программы по изучению и разведению трепанга. Только не все пошло так успешно, как хотелось бы. Сколько бы наши ученые ни бились и ни кичились, у китайцев и морская трава зеленее, и трепанг растет быстрее. Тут и научный коллективный разум проявил смекалку: плантации трепанга наши, а кормление и забота о нем — ваши. Прибыль пополам.

Однако симбиоз не всегда бывает взаимовыгодным. Именно с таким угораздило столкнуться моей семье.

— Сеня! — Моя сестра с порога бросилась в комнату. — Я нашла тебе друга!

Мы оба уставились на Катю с непониманием. Оказывается, бизнес-дела нашей семейной компании завели Катю в город Уссурийск, неофициальный международный

центр корейской и китайской бизнес-диаспор. Там-то она и повстречала Антона (он же господин Фан, выходец из Уханя) — предприимчивого бизнесмена на белом «Лексусе». Приехав на российские земли, господин Фан, не знавший ни слова по-русски, нашел себе пару русских смысленных парней и состряпал фирму. Занимался Антон якобы производством и продажей комбикормов для сельскохозяйственных животных и неплохо, по его заверениям, зарабатывал. Услышав такую новость, Сеня очень обрадовался. Неужели здесь, на дальних приморских землях, его соотечественник, и даже земляк, успешно ведет бизнес? Антон предложил Кате надежное сотрудничество и инвестиции, а также работу для Сени. Ведь, по словам господина Фана, не мужское это дело преподаванием заниматься, мужик должен делать серьезную работу, зарабатывать много денег, и он как земляк обязательно о Сене позаботится. Позаботился Антон тогда о Сене своеобразно. Как сейчас помню, подобрали мы сбежавшего с работы Сеню посреди чистого поля где-то в глуши Хасанского района, грязного, помятого и разочарованного в крепкой дружбе земляков. Оказалось, что у китайского предпринимателя было несколько свиноводческих ферм, которые он методично скупал у местных фермеров, прокручивая разные махинации. На одну из них он и пристроил Сеню, магистра со степенью по биохимии, осуществлять надзор за рабочими, делать прививки свиньям да мясо отвешивать приезжающим оптовикам. И все бы ничего, только вот условия труда на этих самых фермах, мягко выражаясь, оставляли желать лучшего: рабочие — граждане Китая — трудились много, денег получали мало, а прав не имели и вовсе никаких, ибо визы у них закончились еще за несколько лет до того.

За господином Фаном стояли сомнительные китайские инвесторы, которые вкладывали свои капиталы, дабы мирным путем вытеснить местных производителей и укорениться на приморских землях. Закончилось наше сотрудничество с господином Фаном плачевно: по неведомым нам причинам он свой бизнес свернул, обещанные золотые горы Сеня так и не обрел, равно как и нового друга, а сделанные были инвестиции в наш семейный бизнес господин Фан по зрелом размышлении решил востребовать обратно, так что наша компания еще и осталась в долгу перед китайским горе-предпринимателем...

Можно ли в данном случае винить китайский национальный менталитет? Конечно, нет. Винить следует лишь человеческие свойства господина Фана. Однако у китайцев есть на этот счет мудрая пословица: крупинка мышинного помета портит целый котелок рисовой каши...

### *Хого — международный самовар содружества*

Есть у нас один день в году — выбирается он обычно в конце октября или в начале ноября, — когда, как бы все ни были заняты, как бы ни погрязли в рутине повседневной жизни, стоит только бросить клич: «Время хого!» — и мирская суета ставится на паузу, все наши друзья собираются на острове с патристическим названием Русский, на нашей даче на берегу Японского моря. Ну, дача, может, и слишком громко сказано — так, кунг<sup>1</sup> да деревянная к нему пристройка-веранда на лесном участке. Зато какая благодать: свежий воздух, море, лес.

О том, что такое хого, знают даже не все приморцы. Культура этого мероприятия лишь начинает внедряться в русскую среду, хотя я уже видела в городе как минимум одно такое заведение, открытое предприимчивыми китайцами. Но одно дело сходить в ресторан, а другое — устроить все самим, поучаствовать в процессе подготовки. «Хого» с китайского языка переводится как «огненная кастрюля». По-русски его чаще

---

<sup>1</sup> Тип закрытого кузова-фургона военных грузовых автомобилей и прицепов.

называют китайским самоваром. Суть очень проста: все рассаживаются вокруг стола, на котором устанавливается этот самый китайский самовар. Внутри диковиной конструкции горит древесный уголь, а во внешней емкости булькает наваристый бульон, в который ты сам кладешь любые приготовленные на столе ингредиенты на собственный вкус: сам варишь, сам и ешь. Иногда, конечно, уже не разобрать, где чье, и нашинкованная лепестками картошка, и нарезанная тончайшими пластинками говядина расхватываются всеми на ура, тут уж, как говорится, в большой семье клювом не щелкай. Ингредиентов может быть неограниченное множество. Тут тебе и разные диковинные китайские грибы, и тофу всех сортов, и сладкий картофель батат, который новички принимают за морковь, и зелень, и мясо, и тефтельки, и сосиски, и корень лотоса. Интересно наблюдать за поведением сотрапезников. Завсегдатаи клювом не щелкают, а те, кто на мероприятии впервые, настороженно задают кучу вопросов. Особенно скептически настроены мужчины: не лучше ли, мол, было шашлыки учинить или хоть сосиски на шампурах? Но стоит только опустить палочки в ароматнейший бульон — и куда девается весь скептицизм?

Теперь уже желающих поучаствовать в хого-аттракционе очень много. А подарил нам этот обычай все тот же Сеня, которого многие любят и всегда ждут на русской земле.

Если несколько наций селятся на общей территории на продолжительный срок, что из этого получается? Меняются ли их менталитеты и культурные привычки, соприкасаясь с чем-то новым, порой диковинным, часто полезным и всегда очень интересным? Если вы спросите меня, я отвечу: скорее да, чем нет. И Приморский край тому наглядное подтверждение.

*От редакции:* Фотографии автора, иллюстрирующие текст, можно посмотреть по ссылке.



*Сергей Самсонов*

## Открытие родины, или Как самка богомола приняла меня за дерево

Она объявилась на самом углу обеденного стола в просолнеченном дворике приморского пансионата — немедленно определённая нами как самка богомола, инопланетянка с выпуклоглазой треугольной головой и долгим вытянутым тельцем на коленчатых ножках, — и больше у меня перед глазами ничего не осталось. До неправдивости реальная, она степенно-крадучись, как будто исполняя некий ритуал, подбиралась к моей левой кисти, надолго замирала, и вправду как в молитве, складывая на весу могучие передние конечности, и начинала по-шамански танцевать на двух парах задних, с непогрешимостью сомнамбулы раскачиваясь вправо-влево, заворожённая своей, одной только ей ведомой целью, и завораживая тех, кто целью её не был.

В её булавочной головке с различным разве что под микроскопом нервным узелком было своё таинственное самоощущение и мировосприятие — не бесконечно примитивнее, не выше человеческого, а настолько другое, отличное от моего, что кто-то из нас как будто и вправду не принадлежал вот этому миру, недостоверный выходец неведомо откуда, — или она, или я сам.

Я смотрел на неё и думал, что любовный свой каннибализм и хищную суть вообще она выбирала не более чем свои же антенны, мандибулы и способ мимикрии. Тогда как человек всё время волен выбирать между жестокостью и милосердием, безразличием и соучастием, то есть, в конце концов, между собой и образом, по которому он сотворён. Любая встреча с братом меньшим, который ни на йоту не отступает от своей природы, — это всегда напоминание, что ты способен поступать иначе, чем привык. Что ты в этом мире не главный, а сам себе — столь же нечаянный, необъяснимый дар, как и присевшая неподалёку птица или божья коровка, которую вдруг замечаешь. Чем пристальнее вглядываешься в жизнь деревьев, птиц и насекомых, в недостижимо синеющее на грани видимого море, тем более нелепыми, уродливыми, дикими представляются все наши старания настоять на своём, насильно утвердить свои понятия об истине и справедливости в творении, где несовершенен один только ты.

---

*Самсонов Сергей Анатольевич* — прозаик. Родился в 1980 году в Подольске. Автор нескольких романов, среди которых «Железная кость» (2015), «Соколиный рубеж» (2017), «Высокая кровь» (2020). Лауреат премии журнала «Дружба народов» и премии «Ясная Поляна» (2019) за роман «Держаться за землю» («ДН», 2018, № 8,9,10). Участник проекта АСПИР «Творческие командировки». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Высокая кровь» (2020, № 3).

Она приближалась к моей левой руке. Единственной зелёной вещью на нескольких квадратных метрах, помимо неё самой, была моя толстовка, и я не шевелился, пока богомолка не перебралась ко мне на рукав и не вскарабкалась до самого плеча, и, вполне возможно, сочтя меня кустом — предметом неодушевлённым и, значит, безопасным. На какое-то время я вовсе перестал понимать, что я такое, как сюда попал и для чего я здесь.

Одно из самых первых моих воспоминаний — железная дорога, вдоль которой я гулял с отцом, сначала держась за его указательный палец, а вскоре уж, напротив, порываясь на свободу, стремясь максимально расширить границы собственного бытия, шагнуть за край уже освоенного, вдоль и поперёк исхоженного мира — в святой убеждённости, что за горизонтом творится нечто совершенно замечательное. Стук поездных колёс на стыках рельсов — один из самых властных, гипнотических звуков человеческой цивилизации — вошёл в мою кровь и навсегда связался для меня с идеей бесконечности и гармонического космоса, с детским восторгом первооткрывательства и в то же время с чувством возвращения домой. В почтовом отделении подле родительского дома до сих пор сохранилось огромное, во всю стену, панно — шестая часть суши, рельефная карта со струнами, протянутыми от Москвы до Мурманска и Душанбе, Улан-Удэ и Кишинёва, Хабаровска и Симферополя. «Сын, родившийся под Красною звездой», сам для себя и альфа, и омега, я зачарованно смотрел на очертания великой страны, читал составленные будто из случайных букв названия далёких городов и всё никак не мог вообразить, что они существуют, что в каждом из них и впрямь живут люди — другие и точно такие же, разноязыкие и разноликие, но и странно единые, словно некая сила, безымянная и непонятная, обнимает нас всех, прижимая к себе и друг к другу на безмерных пространствах холодных снегов и безводных пустынь, на сводящем с ума беспредельном ветру. Сказать по правде, не могу поверить в это до сих пор. Теперь уже как взрослый человек, который знает о небратском и неродственном состоянии мира, о его «ненавистной раздельности».

Когда позвонили из АСПИР и спросили: «Поедете в Крым? Самолёты туда не летают», — я сразу же ответил утвердительно, не помышляя об идейно-политическом аспекте этого вопроса. «Чей Крым?» Чьи Карадаг, Ай-Петри, Роман-Кош — геологическая вечность глыбовых поднятий и вулканических пород, неприступно молчаливые горы, перед лицом которых даже время признаёт своё бессилие и которые существовали задолго до появления человека на земле. Сарматы, скифы, греки, ордынцы, генуэзцы давно уж превратились в нагретый солнцем камень и горький запах голубой полыни. «Годы, люди и народы...» И в то же время Крым необсуждаемо, мучительно-горестно русский — порукую тому ещё один горный массив от «Севастопольских рассказов» до булгаковского «Бега» и шмелёвского «Солнца мёртвых». Последняя полоска отеческой земли, сухой, «как прах», «как скит, которому гореть», и впрямь сгорающей, как порох, под ногами отступающих в изгнание солдат. На чужбину — как в небытие. Или прямо утопленных заживо красными — уходящих под воду с чугунными колосниками на ногах.

Когда смотришь на мир из окна скорого поезда, о «семейной вражде» совершенно не думаешь, забываешь о ней, поглощённый вещами, которые между собою не враждуют, а если и воют, то только поневоле — полями, облаками, перелесками... Странное это было путешествие. Я знал, куда мы направляемся и что со мной будет происходить (нечто похожее на ощущения от первых поездок за край уже освоенного мира), но в то же время будто бы не знал ни нашего маршрута, ни расстояния, которое нам предстоит преодолеть, ни уж тем более конечной точки странствия. Поезд двигался медленно, подолгу останавливаясь на скромных полустанках и многолинейных станциях и начиная двигаться в обратном направлении, электротягою прицепленного уже к хвосту локомотива, и создавалось впечатление, что цель вот этого тягучего движения всё время от тебя отодвигается, что между нею и тобою возникают всё новые

пространства, меняют свои очертания реки, лесные массивы, проливы, моря, и оставалось только верить, что чем расплывчатее призрачно-потусторонний полуостров, тем встреча с ним неотвратимее.

Поля и перелески средней полосы с их небогатыми цветами и вечной недоговорённостью в полутонах, с их потаённо пасмурным, стыдливо-синим небом сменились выжженными плоскими степями, как будто бы скроенными из бурого войлока, нескончаемыми бороздами вертящихся гончарным кругом пашен, одним сплошным месторождением неубранной пшеницы, ячменя, овсов и их золотистой стерни, солдатскими шпалерами тёмно-зелёных виноградников и ведьмовскими мётлами пирамидальных тополей. Космическая пастораль, где каждая звезда, невидимая в полдень, и каждый стог на своём месте, ничто никем не изуродовано и не вернётся в хаос никогда. По-матерински улыбающийся лик природы, счастливая невинность и время землепашца, идущее по кругу. Путь зерна.

Наутро — ветер гуттаперчевой стеной на платформе Тамань Пассажирская, досмотрщики с овчарками и металлоискателями, блаженство перекура, свободы от купейных клеток и синей слюдяной глазурью застеклённый Керченский пролив. Мы не увидели моста со стороны, глазохватом, целиком. Косые балки мощной стальной арки скрещивались в громадные римские цифры двадцатого века. Сооружение, я полагаю, рядовое для нормальной империи.

А дальше — снова та же степь, обглоданная ветром и выбеленная временем, как кость, местами — уже соляная пустыня, где у живого нет надежды ни на воду, ни на тень, а трава цвета высохшей вулканической серы разучилась жалеть себя раньше, чем пробилась на немилосердно палящее солнце. Я мало сказать, что люблю нашу степь — оренбургскую, волжскую, а теперь и таврическую, — её «залёгшее бесчеловечие» и в то же время зов её пространств — шагать, шагать за край земли, лихим ли человеком, очарованным ли странником, с мечтой о перемене участи на любую другую, с непонятной любовью и преданностью неизвестно кому и чему. Ни горы, ни море мне уже будто не были нужны, однако же неотвратимо приближались.

Сошедши с поезда на симферопольском вокзале, я не увидел ничего, что делает Крым Крымом в глазах человека, знакомого с местностью только по книгам и картинкам Гугла, но это был определённо южный город, в одно и то же время млеющий в истоме и меланхоличный, странноприимный и заброшенный, полный солнечной благодати, но и чеховской скуки. Заборы из ракушечника и песчаниковых плит, увитые плющом и виноградом частные дома, строить которые из камня здесь дешевле, чем из дерева. Проспект, полонённый ползучим скопищем автомобилей, — почти что московская пробка. «Когда Крым вернулся домой...» — так начал отвечать наш провожатый и водитель на один из дежурных вопросов. После подобного «когда...» вам не услышать уверений, что жизнь на полуострове преобразилась до совершенной благодатности, став беспечальной и безбедной. Жизнь стала другой: в чём-то труднее, в чём-то легче — так нам говорили. Автомобили сделались доступнее, но вместе с их притоком появились и уличные пробки. В высокие правительственные кабинеты не пришли кристально честные «служители народа» (откуда же им взяться, бескорыстным? ведь если не из нас самих, то больше неоткуда, да?), бензин и хлеб до противоестественности дороги, зато положение дел в медицине и вправду изменилось едва не фантастически: врачи с «большой земли», сложнейшие оперативные вмешательства в Москве и Петербурге — всё то, что раньше стоило огромных денег, теперь проходит по разряду почти конвейерной обыденности.

Таксисты, как известно, народ балагуристый, но тот, что вёз нас в гости к Славе Харченко, не только перепрыгнул в наличную реальность напрямую из «Брата-2», но и явно был склонен к метафорическим экспромтам: «Сначала стены этого дворца были усыпаны мраморной крошкой и на солнце сияли, как золотые купола». Поэт Переверзин, завсегда этой этих мест, был нашим Вергилием в крымском



краю — то есть в мире, для меня вполне потустороннем. Не знаю уж, АСПИР или судьба предусмотрела, чтоб сей большой топографический талант попал в одну поездку с таким топографическим кретином, как я, но лучшего попутчика вот в этом смысле желать было нельзя. Как, впрочем, и в литературном смысле, и в чисто человеческом.

Бросив вещи в гостинице, мы двинули к старинным переверзинским друзьям, живущим и работающим в Симферополе. Я не был знаком ни с Александром Барбухом, ни с Вячеславом Харченко, но знал, что и тот, и другой учились в незабвенном Литературном институте, а им было известно, что там учился я. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Общежитие на Добролюбова, 9/11, предупреждения и выговоры за «диспут, вылившийся в драку», убеждённости в своей гениальности и несбыточности юных надежд на неё, невозвратимость и самих надежд, неизбежность расплаты за юность, поглощённость редакторской или сценарной подёнщиной, семейным бытом, несложностями личной жизни и постоянные, как у подопытной собаки, гальванизируемого трупа, колебания от отчаяния до решимости возвратиться к тому непрестанно откладываемому главному, ради чего и «поступал на прозу».

Литинститут имени Горького — метка невытравимая, неизгладимое клеймо всех беглых каторжников, чей острог — пустая белая страница. Рассеянные по стране и миру и скованные одной цепью из кириллицы выпускники и недоучки — в Челябинске, Самаре, Подольске, Симферополе — определённо образуют волчье братство одиночек и, даже незнакомые друг с другом, общаться могут, как бы продолжая оборванный вчера на полуслове разговор. А впрочем, если бы не Маша Базалева — наш проводник и, так сказать, куратор от АСПИР, — не помогли бы, очень даже вероятно, ни массандровские вина, ни память золотых литинститутских дней, и мы так и остались бы насупленными молчунами, каждое слово из которых приходится тянуть клешнями. Я — уж точно. А так — те четыре стены, в которых мы сидели, и в самом деле стали домом, ведь женщина способна создать дом повсюду и для кого угодно, кто б ни оказался рядом. В плацкартном вагоне, на голой земле, вокруг придорожного камня, ветрами превращённого в подобие стола. Раскладывая на столе нарезанный ломтями чёрный хлеб, вкрутую сваренные яйца, колбасу, огурцы, помидоры и спичечный коробок с солью.

Итак, все действующие лица — по крайней мере, главные — худо-бедно представлены. Официальная часть такого рода творческих командировок мне, признаться, тягостна. На следующий день нас ждала огромная, богатая, я бы даже сказал, фешенебельная республиканская библиотека имени Франко, где я был представлен собравшейся публике как лауреат, финалист и т.п. и вновь ощутил себя бесправным самозванцем, Хлестаковым, которого «нигде ещё так хорошо не принимали». Ведь, говоря «Толстой» и «Шостакович», никто уже не добавляет «писатель» или «композитор», а подавляющему большинству из нашей современной братии приходится таскать с собою все свои «регалии» и долго разъяснять, кто ты такой.

Под вечер мы снова были у Харченко и слушали стихи Андрея Полякова в исполнении автора:

Мы знаем снежные колонны  
и холод звёздного штыка  
и голос Музы, почти влюблённый  
летающий вдаль издалека  
Он звал и пел, сияя славой  
над всем, чему нельзя помочь  
пел над шинелью от крови ржавой  
в которой ты упал в ту ночь

Чем и зачем живут такого класса авторы в Крыму? В глазах туриста, человека пришлого и постороннего, Крым — волшебное, райское место вне времени и вне печалей, где всё — «поэзия» и «для поэзии», и это самое банальное истолкование пространства. А для родившегося, выросшего или долго прожившего здесь человека существует другой образ Крыма и целого миропорядка. Зброшенный, горестный край, где жизнь под беспощадным солнцем превращается в постылый сон о жизни («Есть ли города летом вид постыло-знакомей?»<sup>1</sup>), где купоросно-синий летний или же пепельно-сгоревший зимний воздух отравлен чувством быстротечности и конечности нашего пребывания здесь, где солью на древних камнях проступает трагическая формула человеческого бытия — «несбыточность, невозвратимость, неизбежность». И это-то и есть единственное подлинное содержание поэзии.

Как живой, говорю о разлуке  
о последней разлуке земной  
а дымок, обнимая мне руки  
не желает расстаться со мной

Всё равно мы рассеемся, милый  
через несколько Божьих минут...  
Мы вообще не из этого мира  
*Я забыл, что мы делали тут.*<sup>2</sup>

Для Барбуха и Полякова Симферополь — родина. А родина — это такое место, полагаю, в которое нельзя вернуться, даже если ты и не покинул его, и из которого нельзя уйти, даже если сейчас ты находишься на другом континенте. В Крыму, как и в пустыне, некуда деваться от себя самого: куда бы ты ни шёл и на какую бы вершину ни поднялся, над головой горят всё те же проклятые «вопросы на ответы».

На следующее утро мы с Переверзиным разъехались по разным городам: он — в Бахчисарай, а я — в Саки, старейший бальнеологический курорт, где Гоголь в позапрошлом веке «пачкался в минеральной грязи». Электроприводные инвалидные коляски в Саках — отдельный и даже как будто бы главный вид транспорта. «Водители» их — полноправные хозяева вот этого тихого, идеально-схематического города, его променадов и парков, солёных озёр и пахнущего йодом воздуха. Сияющие перистые облака стояли в небе веерообразными столпами, молочное солнце прохлёстывало сквозь кроны чёрных сосен и пирамидальных тополей — будто негативов, теней ли или первообразов недосыгаемо-далёких облачных хвостов.

Происходящее в пространстве обращало мысль к школьным опытам с магнитными полями на бумаге: солнце было магнитом, все частицы наличного мира — опилками. Ненарушаемая связь всего живого была ясна, как мало где и редко когда. На встрече с читателями в модельной библиотеке им. Гоголя я разглагольствовал о музыке как о Богоявлении: «и по огни глас хлада тонка...»<sup>3</sup> и так далее.

Расстояния между крымскими городами сравнимы с подмосковными, но голая равнина с протяжными холмами и призраками гор на горизонте создаёт для путешественника ощущение безмерного пространства. И вообще тут происходит поединок не столько плоти и пространства, сколько твоего сознания и времени. Живущие дольше тебя на много миллионов лет горы безмолвно утверждают над тобой ту власть, которую всё неподвижное имеет над подвижным, и сообщают тебе твой настоящий масштаб — вот именно по отношению ко времени. Ко времени земной коры и магматических пород, базальтовых столбов и водородно-гелиевых звёзд.

<sup>1</sup> *Иннокентий Анненский*. «Тоска белого камня».

<sup>2</sup> Андрей Поляков.

<sup>3</sup> 3-я книга Царств 19:12.

Считается, что сочинитель проверяется тем, как он пишет постельные сцены. Мне представляется, не в меньшей, а может быть, и в большей мере — тем, как он пишет природу: степь, лес, горы, море — Творение. Быть может, потому-то в наши дни никто особенно природу и не пишет. Не хотят проверяться, оправдываясь тем, что таковые описания — «прошлый день», нечто занудно-нафталиновое и памятное нам по школьным изложениям Паустовского и Пришвина. Что ж, в данном случае я готовно признаю своё поражение перед лицом Ай-Петринской яйлы и Чатырдага — или, по крайней мере, откладываю эту баталию на будущее.

Когда мы ехали из Керчи в Симферополь поездом, цепь горных вершин невнятно-призрачно синела на самом горизонте, и облака казались достовернее, прочнее и незыблее гор. Когда же мы выехали из Симферополя в Алушту на машине, они, хребты и пики, явились нам во всей своей неотменимой вселенской весомости. Завалами каменной макулатуры, которую в век не перечитать до самого триаса и юры, снимая светлые и тёмные слои кварцитовых песчаников и сланцевых кладок, спрессованные бесконечным грузом неба. Громадными скрижалями завета, растущими прямо из тверди земной и испещрёнными нерасшифрованными письменами. Небесными телами, чья вечная пустынность и немая неприступность родом не с Земли, а с тех планет, от которых они откололись когда-то непроглядно давно. Но странно: они не проламывали меня тяжестью своего векового молчания — не различали, не жалели, но и не давили, определённо занятые большим, чем наши земные дела, и равнодушные до нежности. Чем дальше, чем синее, тем нематериальнее, так что уже неясно, *что* через час или минуту станет паром, а *что* останется незыблемым в век века: вот эти горы или облака над ними. Там, вдалеке, они казались сделанными из одного материала — и облака, и горные вершины, — из чего-то нежнее, чем снег, и прочней, чем гранит.

Дальше хочется написать что-то вроде «первый чёрный кинжал кипариса полоснул по сетчатке», но обойдётся без наивно-неуклюжих подражаний Иличевскому. «Кипарис!» — возопил я, как «поймали!» на первой рыбалке с отцом. На южном побережье Крыма эти чёрные акварельные кисти, обмокнутые в кубовое небо, господствуют в пейзаже, сам этот узнаваемый, открыточный пейзаж и создавая, и принимаются уже за нечто обязательное, обиходное, как клёны и берёзы в средней полосе.

С алуштинского променада мы увидели море — по-северному серое под лиловато-пепельными небесами на закате, оно плоско катило на галечный берег свои неисчислимые валы и узурпировало слух своим однообразным, безумолчным шумом, ненастоятельно гася все прочие, не столь протяжённые звуки: разносящиеся водопадными брызгами мелодии и ритмы популярной музыки из всех прибрежных ресторанов и кафе, не говоря уже о человеческом гомоне и шелесте автомобильных шин. Всему разнообразию земли оно противопоставляло постоянство своего единственного тона, сколь неохватно-колоссального, столь и неизбывно-печального. То был определённо голос самого дистиллированного, в чистом виде, времени, тот голос, слушая который, перестаёшь жалеть себя, приговорённого к исчезновению.

Отсюда, от моря, мы двигались уже как будто только вверх — извилистыми тропами и лестничными маршами по заросшим акацией и кипарисами склонам, каменистым террасам Профессорского уголка — в очаровательно-нелепую гостиницу со многими лестницами, переходами и запираемыми по-тюремному калитками, в дом-музей академика Бекетова, где ждала нас ещё одна встреча с читателями, и выше — в дом-музей Шмелёва, прозревшего сквозь «Солнце мёртвых» таинственный фаворский свет своими широко посаженными, огромными от скорби и ужаса глазами. И выше — по несчётным петлям серпантина — к вершине Ай-Петри, к утёсу Шишко на 1182 метрах над уровнем моря. Трещиноватые и смуглые зубцы недостижимой высшей точки, изветренные, стёртые, изъеденные временем. Так высоко, что в окоём

вмещаются и сахарная крошка Большой Ялты, и медвежья спина Аюдага, и синее, как медный купорос, почти неотделимое от неба море. Одна огромная растительная клетка со своими хлоропластами, следы удивительной жизни в единственной капле воды, плевков Левенгука в бескрайнее синее свечение неба и моря, микроскопическая частная вселенная посреди светоносного, совершенно пустого и безмолвного космоса.

На обратном пути, под метрономный стук колёс на стыках рельсов, в голове моей билось: «Дозволь же мне и опрокинуть до дна, теперь не шестая, а просто одна. А значит, без громкого тоста, без иста, без веста, без оста»<sup>1</sup> (спасибо Переверзину, который, как мог, заполнял зияющие дыры в моих познаниях о родной поэзии).

Я думал, что любое продолжительное путешествие в пределах, где главенствует материнский язык, есть открытие родины, ещё одного её образа, лика, доселе тобою невиданного и, в общем-то, непредставимого: торжественного, радостного, величавого, строгого, порою изуродованного, горького, убогого, но всякий раз такого, что нельзя ни отвернуться, ни забыть. Одна ли шестая часть мира, десятая ли, благоденствующая, разорённая, разбитая, словно склешенный корневищем ком земли, на несколько кусков — всегда одна.

Премудрый стоик Эпиктет сказал: «Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет». И все несчастья человека проистекают из того, что он упрямо путает одно с другим: то, что он волен изменить, с тем, что предрешено. Когда мы появляемся на свет, для нас невозможны другие родители, дом, другое солнце, снег, отечество, другие мы сами — мы принимаем всё это как данность и, в общем-то, необсуждаемо любим, да и возможно ли сказать «люблю» о том, что есть твоё начало и ты сам?

Любой из нас в отдельности беспомощен передо всеми центробежными и центростремительными силами, что разрушают и воссоздают страну, в которой чёрт ли или Бог догадал нас родиться. Нам могут подменить отчизну, свободу, нас самих — ещё до того, как мы вырастем и начнём что-то смыслить. Мы можем сами промотать, продать за стеклянные бусы и то, и другое, и третье. Мы можем... нет, не взять реванш, но обрести дом там, где нам от дома, казалось бы, уже бесповоротно отказали. В конце концов, каждый из нас рождается не только в России, Америке или Монголии, но и по Цветаевой: «Было то рождение/ В мир — рождением в рай». Рождается и начинает жить тоской по изначальному единому миру. Не разделённому враждой и аппетитами различных государств. И не принявшему на веру, что самый лёгкий способ возвратиться в рай — это устроить ад другому. У меня нет ответов на «кто виноват?» и «что делать?» — или, по крайней мере, они не кажутся мне удовлетворительными, — но я не возражаю против Крыма как ещё одного лица моей родины. Это без объяснений. Причины есть у мести, зависти, обиды, ненависти, а любовь не имеет причин и сама есть причина. Когда видишь Крым — не то сон человека о камне, не то сон камня о человеке, — то хочется самому что-то сделать для этого Крыма.

---

<sup>1</sup> Денис Новиков. «Околица».

Варвара Заборцева

## О первых рифмах

Мне было двенадцать, когда во сне привиделись первые рифмы. Вспоминать их нелегко, но они легко вспоминаются:

Научиться бы жить,  
А не существовать,  
Научиться б любить,  
Чтоб на век, чтоб на пять.

Проснулась и первым делом записала, пока не растворился хотя бы малейший фрагмент, похожий на текст в рифму. Давно думала сочинять песни — тогда многие девочки моего возраста мечтали о музыкальной группе, а тут первые слова сами пришли. Решила показать написанное учительнице по литературе. Мне везло с учителями — я доверяла им. Елена Павловна внимательно изучила мои попытки писания в столбик, выдержала паузу и вручила книгу «Основы стихосложения». А главное, посоветовала подумать, о чем я по-настоящему хочу сказать. Что я знаю и к чему смогу подобрать свои рифмы. Елена Павловна Абрамова (фамилия педагога тоже будто одна из первых рифм!) знала о моей любви к Пинежью, она тоже была связана с моими родными краями, о которых я по любому поводу рассказывала в школе. И добавила, что скоро будет городской конкурс юных поэтов имени Фёдора Абрамова. Сказала, попробуй вначале пойти за писателем-земляком, расскажи о Пинеге своими словами.

Книжку по теории стихосложения я освоила быстро. Помню, уловила главное — рифмы бывают не только глагольные. Вот и стала рифмовать, всё, что видела на Пинеге:

Раздолье, пение кукушки,  
Прогулки вдоль родной речушки...

Детство пригodiлось — кроила рифмы из него. Потом сшивала их — стихосложение напоминало мне тогда кройку и шитьё. Надо понять, какие отрезки взять и как их потом соединить. И так пять лет до окончания школы каждый февраль писала одно стихотворение на абрамовский конкурс юных поэтов. Он всегда проходил после 29 февраля, дня рождения писателя. Каждый раз я писала Пинегу, только разными словами. Постепенно будто привыкла искать рифмы в феврале. Мне и сейчас хорошо пишется в это время — самое прочное на Севере. Реки никуда не бегут, со снегом смирились, но думается все же о тепле, главная мысль — простая и ясная: скорей бы весна.

---

*Заборцева Варвара Ильинична* — поэт, прозаик. Родилась в 1999 году в посёлке Пинега Архангельской области. Окончила Академию художеств имени И.Репина (факультет теории и истории искусств). Печаталась в журналах «Юность», «Звезда», «Новый мир» и других. Участница проектов СЭИП и АСПИР. Лауреат литературных конкурсов, в т.ч. литературной премии «Лицей» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 11.

---

*Наталья Сырцова*

## Первый опыт

Осень. Наконец, после жаркого лета в Волгоград пришла осень. Я первоклассница в парадной форме, с огромным белым бантом на голове. Мама ведёт меня в школу. Мне едва исполнилось шесть. Страшно и любопытно одновременно. Плачу, пытаюсь вырвать свою маленькую ручку из маминой... Впереди школа, большая, белая, и такая любимая впоследствии. Первый звонок, как в тумане, и вот мы в классе с нашей учительницей — Самохиной Ниной Андреевной. Какая она была? Степенная, добрая, с длинными каштановыми волосами, собранными на затылке в «ракушку». Её выдавали глаза; как же для меня это было важно и тогда, и теперь. Кто бы мог подумать, что спустя два года, благодаря школьной учительнице, я напишу свои первые прозаические миниатюры о временах года. Хотя начальную школу помню плохо, но поездки по музеям города остались в памяти навсегда. Где мы только ни были: и в художественной галерее, и в планетарии, и в краеведческом музее, да и в детскую библиотеку записались все вместе. И вот там, впервые в жизни, заполняя читательскую анкету, я написала, что самыми любимыми предметами считаю русский язык и литературу. Читала много, учила наизусть стихи Фета, Есенина, Пушкина, очень любила Пришвина, особенно его «Кладовую солнца», рисовала иллюстрации к школьным сочинениям, но сама что-то сложить не пробовала, не дерзала. На летних каникулах мне в руки, случайно ли, попались «Янтарные хроники» Роджера Желязны, и понеслось...

Нет, это была не поэзия, а проза, конечно, в чём-то похожая на Желязны, но всё равно моя. «Город фантазий» — небольшая, от руки написанная книжка, личный опыт девятилетнего человека, мои переживания, думаю, я ещё вернусь к ней. Разве я могла представить, что пройдёт немного времени и от моего сочинительства останутся рожки да ножки? Нет, я не бросила, я начала!

В моей семье всегда жили книги, мама очень любила читать, она и свою маму научила, да, бывает и такое: дети родителей учат. Бабушка рано потеряла своих: мать умерла, отец пропал без вести во время Великой Отечественной, не до учёбы. Есть нечего, одну пару сапог делила она со своим старшим братом, пока до школы добежит да обратно, — ноги мокрые. Так и ушла моя бабуля в лучший мир с четырьмя

---

*Наталья Сырцова (Мозалевская Наталья Николаевна) родилась в 1983 году в Волгограде. Печаталась в журнале «Новый мир». Автор поэтических книг «Зелье зимы» и «Осенины». Участница проектов АСПИР и «Всероссийской школы поэтического мастерства». Живёт в Волгограде.*

неполными классами, но читать научилась, а какие частушки сочиняла, да и человеком была простым и незатейливым, добрейшей души, ушла в предновогодний день, важный и сумеречный, день, когда мне вручали членский билет союза писателей России. Дождалась.

Среди русской и зарубежной классики, советской литературы, многочисленных научно-популярных журналов я нашла книгу, которая перевернула моё сознание — это был Николай Михайлович Рубцов, в шутку ли сказать, что мой отец по дате рождения и смерти стоит рядом с ним и является его тёзкой. Открыла и обомлела — «Тихая моя родина»...

Звуки, звуки, звуки, понятные, простые, правдивые, волшебные звуки поэзии, разве я могла остаться равнодушной? Нет, не смогла. Я с тринадцати лет слышу эту прекрасную музыку, её божественный ритм, ведь это он помог мне пережить смерть бабушки и деда по отцовской линии.

Кто мои учителя? Это вы, такие разные, но любимые — Желязны и Рубцов, это вы, Самохина Нина Андреевна, научившая меня читать и писать на любимом моём языке, это мама, приходившая с работы и ни разу не отказавшая мне в чтении вслух «Волшебника изумрудного города», это, многим позже, поэт Василий Степанович Макеев, убедивший собственным примером крепко любить Великое русское слово и, конечно же, Алексей Давидович Алёхин, в буквальном смысле заставивший поверить в себя...

Осень. Наконец, после жаркого лета в Волгоград пришла осень, и я снова могу вернуться к своим тетрадям, дневникам, письмам, воспоминаниям. Я часто задаю себе вопрос, кто же для тебя важнее, — тот, кто учил, или тот, кто продолжает учить? А может, это тот, кто растёт вместе с тобой и в итоге поселяется в сердце? Сегодня, сейчас, уже будучи сорокалетней женщиной, матерью двоих детей, я понимаю, что все любимы и важны, но один, всё же, стоит особняком — Борис Леонидович Пастернак, мой воздух, моя опора. Он возник не на пустом месте, но это уже совсем другая история. Мечты сбываются, пишу не по наитию — по любви: о начале пути, о стихах, о людях, — и где бы вы думали, в поезде Волгоград — Москва, угадаете, куда еду? А еду я к Борису Леонидовичу в Переделкино, почтить память, да просто поговорить.

А закончить хочу собственными строчками, написанными давным-давно:

- Осень, что тебе нужно, осень?
- Очень хочу полюбить...

...Я искренне и навсегда полюбила поэзию, в которой живёт Бог, дарующий бессмертие.

## «Я хочу рассказать вам...»

*Итоги 2023 литературного года подводят критики*

*Ольга Балла, Мария Бушуева, Борис Кутенков, Елена Ленишева,  
Александр Марков, Николай Подосокорский, Валерия Пустовая,  
Елена Сафронова, Аглая Топорова, Александр Чанцев,  
Кирилл Ямщиков*

Вопросы для обсуждения:

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги.

Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

*Ольга Балла, литературный критик (г. Москва)*

### Формы выговаривания мира

Последние шесть с лишним лет, с тех пор как оказалась в редакции «Знамени» на правах редактора отдела критики и библиографии, я только и делаю, что открываю для себя (а потом, если удастся, и читателям) современную русскую литературу и именно что систематически отслеживаю новинки — затем еще, чтобы обременить своих авторов задачей их рецензировать. (И да, в этом отношении, пожалуй, можно говорить о наверстывании прежде упущенного, потому что в пору своей работы в одном только журнале «Знание — сила» — до августа 2017 года — я мало читала современного художественного, гораздо больше нонфикшн, зато теперь сплошные открытия.) В этом смысле в 2023 именно году ничего не изменилось. Степень интенсивности чтения как резко повысилась в 2022-м (хотя, казалось бы, куда уж больше), чтобы не сойти с ума, так и остается таковою, — тем более что в моем случае границы между рабочим и личным чтением давно уже пропали, а рабочий режим с поздней зимы 2022-го тоже весьма интенсифицировался. Увы, давно ничего не перечитывала. И вправду жаль, потому что (не говоря уж о том, что это — возможность путешествия во времени) существует по крайней мере три способа глубокого, основательного, «интериоризирующего» — вращивающего книгу/текст внутрь — прочтения: это рецензирование, перевод и перечитывание. (Есть и четвертый: конспектирование с комментариями; но по большей части оно входит в состав первого способа как его предваряющая стадия.) Не перечитывающему недостает глубины. А она, конечно, отчаянно нужна.



А впрочем, только сообразила, что круг чтения на самом деле как раз расширился — в неожиданную сторону. В него вошел, во-первых, казахстанский журнал «Дактиль» — двуязычный, русско-казахский, из которого я, увы, понимаю только русскую половину, — я его вообще стала читать только в этом году и время от времени даже писать для него, — и (отчасти в связи с этим, а отчасти с тем, что некоторая часть друзей и родственников переместилась в Алматы) литература, пишущаяся и издающаяся в Казахстане по-русски (прежде всего поэзия), на которую я стала обращать более-менее систематическое внимание.

Если попытаться дать количественную оценку, то больше всего, пожалуй, читала поэзию, эссеистику, критику, литературоведение, гуманитарную теорию (и не только из рабочих соображений, но и потому, что они, каждая по-своему, приводят внутреннее пространство человека в порядок: критика с теорией проделывают это с умом своего читателя, а поэзия — с ним в целом; фокусирует и усиливает его). А эссеистику (не только потому, что она, в одной из лучших своих форм, прозаическая сестра поэзии, а в другой, не менее лучшей, — неакадемическая сестра философии) едва ли не единственно за тем, что мне вообще очень мила эта форма выговаривания мира.

Если говорить о написанном по-русски, то из поэзии необходимо назвать начавшее выходить собрание сочинений Андрея Таврова, к большой моей печали умершего в сентябре (первые два тома как раз поэтические); большой — избранное за тридцать с лишним лет работы — сборник Ирины Ермаковой «Медное зеркало» и совсем небольшой сборничек «Ледники» Льва Оборина. Из критики — с интересом прочитала я книгу Сергея Костырко «Критика-2», из литературоведения — только что дочитанные «Новые и новейшие работы» Мариэтты Чудаковой и прочитанный несколько раньше сборник текстов Ольги Седаковой «О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза Алешковского»; хочется назвать сборник статей о поэтике Алексея Парщикова «Фигуры интуиции» (он датирован 2022 годом, но прочитала я его в этом, и нельзя оставить его неназванным). Из гуманитарной теории — «Память и забвение руин» искусствоведа и теоретика культуры Владислава Дегтярёва; страшно интересная на мой профанский взгляд книга Лоренса Крамера «Гул мира. Философия слушания». Из эссеистики — сборник римских речей Сергея Аверинцева «Слово Божие и слово человеческое», «От Библии до пандемии: поиск ценностей в мире катастроф» Михаила Эпштейна, книгу Александра Гельмана «Со всеми наедине» (где не только эссеистика, в числе которой дневниковые записи, но и стихи, и публицистические статьи, и одна пьеса), «Духи для роботов и манекенов» Александра Чанцева, а также совместную книгу прозаика Анны Север и художницы Ольги Васильевой «Волки на Невском: Сны и явь Петербурга», совершенно прелестную своей глубиной и чуткой точностью портрета главного героя книги — их и моего любимого города. Очень радует меня Михаил Бару, выпустивший в этом году целых две книги о маленьких русских городках, которые он систематически объезжает и делает видимыми для культуры в целом: «Скатерть английской королевы» и «Челобитные Овдокима Бурунова».

Если говорить о самой яркой / важной / сильной прозе года, то — в том порядке, в каком идет на ум, и стараясь не писать разбухающих списков: две книги — одна последняя прижизненная, вторая уже посмертная — Андрея Левкина: «Проводки оборвались, ну и что» и «Место без свойств» (смерть автора в минувшем феврале — огромная потеря для нашей литературы); роман Дмитрия Гаричева Lakinsk-project; сборник Геннадия Барабтарло «Полупрозрачный палимпсест» и два дебюта в прозе —

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

Дениса Безносова и Алексея Конакова, — о которых скажу чуть ниже, в ответ на вопрос об открытиях.

Из-за того, что моя рабочая обязанность — отслеживание происходящего в литературе, пишушейся на русском языке, фокус внимания у меня поневоле сдвинут в сторону отечественной словесности, но переводное все-таки в него тоже попадает, — большей частью в облике всяческой теории; к счастью, не только.

Из переводного необходимо в первую очередь назвать «Статьи и письма (1934—1943)» Симоны Вейль и «Чашку паломника (Моранди)» Филиппа Жакоте (обе книги — в переводе с французского Петра Епифанова). Из переводной поэзии мне видятся важными два небольших сборничка переводов из идишских поэтов, выполненных группой авторов в рамках переводческого семинара под руководством Игоря Булатовского: «Сонеты для моего брата Нотэ» Ицика Мангера и «1919» Лейба Квитко (вообще литература на идиш — без преувеличений, великая — пока остается мало известной читающим по-русски, и вот соратники Булатовского работают над тем, чтобы ситуация изменилась).

Повторюсь: два особенно интенсивных, пристальных способа прочесть некоторый текст — это, во-первых, написать о нём и, во-вторых, перевести его. В этом году мне выпала счастливая возможность не только первого, но немного и второго: перевела я с позволения и под мудрым руководством Вячеслава Середы несколько текстов для сборника эссе одного из важнейших ныне живущих венгерских писателей Петера Надаша «Золотая Адель» (к моменту, когда этот опрос будет опубликован, он, может быть, уже и выйдет в Издательстве Ивана Лимбаха).

Два известных и ранее автора были, и не только мною, открыты в этом году как интересные прозаики: это поэт Денис Безносков с романом «Свидетельства существования» и литературовед, теоретик культуры, литературный критик, эссеист и поэт Алексей Конаков — с прозой «Дневник погоды. Дисторшны». Моим персональным открытием стал поэт и эссеист Андрей Першин, выпустивший совершенно замечательную, с громадными внутренними объемами книгу «Сопоставления: Диалоги визуального и поэтического», в которой он ищет «срединный путь» между словесными и визуальными искусствами. Это из тех книг, о которых хочется и представляется нужным немедленно думать письменно.

Честно сказать, не чувствую себя вправе что-нибудь советовать, да еще как обязательное, городу и миру: и мое понимание слишком далеко от универсальности, и люди слишком разные, — но о своих пристрастиях и очарованиях (куда без них!) как не сказать. Пусть это будет адресовано братьям по устройству восприятия. Сформулируем топ-3 (крайне трудно, потому что хочется назвать и Седакову, и Чудакову, и Левкина, и Симону Вейль, и Филиппа Жакоте... но три так три, должна же быть дисциплина).

Мне очень не хотелось выпускать из рук — и по сию минуту не хочется — вышедшую этой весной книгу Сергея Гандлевского «Незримый рой: заметки и очерки об отечественной литературе» — сборник его текстов о русской словесности за три десятилетия, — такой он умный, глубокий и, наверное, как-то соответствующий моим внутренним не вполне осознаваемым установкам, потому что его хочется большими пластами цитировать. Одним из самых счастливых чтений этого года — я бы сказала, обновляющих и настраивающих восприятие и мышление — я бы назвала книгу Владислава Дегтярёва «Память и забвение руин». И третьим пусть будут «Сопоставления» Андрея Першина.

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*

*Мария Бушуева, литературный критик (г. Москва)*

## Глубинное и резонирующее

Перефразирую известное высказывание: ни дня без чтения. Так с детства. И ничто на это не повлияло: ни трагические события в семье, ни социальные ветра. К бумажным книгам прибавилось чтение с экрана компьютера, позже — электронная книга. Использую для чтения и смартфон.

И перечитываю. Как раз в этом году открыла незамеченное в «Охранной грамоте» Бориса Пастернака, перечитала «Котика Летаева» Андрея Белого. И, конечно, постоянно обращаюсь к русской классике XIX века. В ней есть выход на глубинное, запредельное, на то, что мы ощущаем за всеми декорациями и суетой. Мгновенно откликнувшийся на социальные проблемы Тургенев, все равно не этим, на мой взгляд, ценен — а угаданными им ответами бытия. В книге «Почти два килограмма слов», которую прочитала осенью, Алексей Поляринов как раз рассуждает о реакции на социальные проблемы и трагедии, подчеркивая быстрый ответ на травматические события в современном американском искусстве и осуждая замедленное реагирование — у нас. Но оценочное суждение в данном случае вряд ли применимо — отличаются две культуры. Представим экстраверта и интроверта: первый откликается быстро, выбрасывает переживания вовне, одновременно перерабатывая, у второго травматический след уходит в подсознание — и там происходит переработка. Долгое освобождение через подсознание гораздо более полное. Собственно это и доказывает книга Дженни Оффилл «Погода» (2023) — роман вышел в переводе Юлии Змеевой. В легкой почти блогерской манере автор рассказывает о постоянных (отнюдь не изжитых) страхах и фобиях типичной американской семьи: манипуляция сознанием обычного человека определяет погоду в семье и в обществе. Приятно удивило, что Дженни Оффилл сумела создать образ хорошей сочувствующей женщины — главной героини. Цифровая цивилизация, которую писательница обойти, конечно, не смогла, рожденная интровертами, как ни парадоксально, в результате оказалась ориентированной на утилитарно-экстравертивный подход, отсекая все «запредельное», не коррелирующее напрямую с тем, что актуально и выгодно. Потому ценность русской классики, сохраняющей иные измерения восприятия, возрастает. За великими именами скрываются талантливые писатели, почти неизвестные читателю: продолжала читать прозу Якова Буткова. О ранней смерти Буткова скорбел Достоевский.

Поскольку занимаюсь литературной эссеистикой, писала рецензии на самые разные книги (издания 2022—2023 гг.), заслуживающие внимания и порой резонирующие с чем-то мне близким. Вот несколько таких книг: «Девочка на шаре, или Письма из детства» (2022) — сборник женской прозы; Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2023) — стихи рано ушедших поэтов; «Выбранные места» (2023) — стихи Юрия Цветкова; «Тритоновы очки» (2023) — сказки для детей и взрослых игумена Варлаама (Борина); «Сочинительница птиц» (2022) — проза Галины Климовой; «Новое Будущее» (2023) — сборник рассказов, составленный Сергеем Шикаревым. С «Новым будущим» перекликаются некоторые трансгуманистические рассуждения Михаила Эпштейна в одной из глав его книги «Первопонятия: Ключи к культурному коду» (2022). В этом вопросе мне ближе С.Хоружий, параллельно читала его работы,

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

в том числе «Герменевтику телесности в исихастском опыте»: в определенном смысле опыт исихазма — вселяющая надежду духовная альтернатива попытке выхода «за пределы» с помощью сугубо материалистической технобиоконвергенции. Сноска на странице «Первопонятий» вывела меня на труд «Универсум. Информация. Общество» Никиты Моисеева, которому принадлежит термин, вынесенный в заглавие книги М.Эпштейна. Поле нон-фикшн вообще богато «витаминами» для интеллекта — читала книги разных издательств, в том числе вышедшую в Ridero «Метафизику целого и части» (2023) Р.Шорина. А книга критики «Предназначение» (2022) В.Лютого, изданная в Воронеже, открыла мне новые имена поэтов и прозаиков-традиционалистов. Пишу о текстах авторов разных направлений, поскольку убеждена в ценности многообразия: литературный процесс не должен быть однокрылым, иначе сможет лишь ковылять... Что еще запомнилось? Открыла для себя «Науку о человеке» В.Несмелова — признаюсь, не знала ранее этого незаурядного философа, вышла на него благодаря отзыву Н.Бердяева.

Были прочитаны и художественные новинки 2022 года, о которых не писала, упомяну лишь три из них: Алексей Сальников «Оккульттрегер», Олег Рябов «Интересная дамочка и новые рассказы» (2022), Анатолий Ким «Любовь Ла». «Оккульттрегер», еще раз продемонстрировав городскими зарисовками, что автор — поэт, показал и отторжение прозаической реальности — резкое снижение поэтического до «делириозной мути», сводящееся к остроумному рецепту — воспроизвести подобное с помощью подобного. Рябов верен себе: рассказ за рассказом создает свою нижегородскую летопись. Признанный еще советским классиком, Ким, к счастью, не окаменел и продолжает удивлять. Оригинальный роман «Любовь Ла», отрицающий власть времени, метафизичен, символичен, в нем, кроме прочего, интересен прием одновременного многоголосия, правда, показался спорным контраст возвышенного с некоторой модернизацией лексики, вкрапленный в поэтическую ткань текста.

И, конечно, постоянно читаю журналы бумажные и сетевые. Журналы — это проводники.

*Борис Кутенков, поэт, литературный критик (г. Москва)*

## О тенденциях и новинках, классиках и дебютантах

В 2023-м нон-фикшн занимал в моем чтении приоритетное место по сравнению с художественной литературой. Возможно, к тому располагает характер времени, которое требует более прямолинейных ответов на свои вопросы. Это, пожалуй, не касалось поэзии, с которой я продолжаю работать как редактор («Прочтение», «Формаслов», «Полёт разборов»), и открытие новых авторов и стихов, как и перечитывание знакомых, органично входило в процесс кураторства, будучи лишь отчасти чтением «для себя». Самые серьезные вопросы для редактора в этом контексте: как избежать рутинизации и остаться искренне заинтересованным; как найти грань

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*

между бескорыстной погруженностью и сферой самодисциплины, реперными точками повседневности, не дающими закоснеть и вынырнуть из рефлексивной сферы в пользу чистого (но развивающего ли?) удовольствия. Однако о нескольких сборниках, при чтении которых стерлась эта граница между «для себя» и «для работы/самодисциплины», скажу.

Пожалуй, еще одна тенденция — утрата дистанции между новинками литпроцесса и перечитыванием; это только отчасти произошло из-за уплотненного графика, но — в большей степени — опять же, из-за характера времени, которое побуждает вернуться к хорошо знакомым (о, эта каждый раз счастливо опровергаемая иллюзия!) книгам, искать в них ответы уже с позиции сегодняшнего дня. Таковыми для меня стали все произведения Лидии Чуковской, пристрастно перечитанные в этом году, в особенности ее дневники, повести «Софья Петровна», «Памяти детства». И — записные книжки и статьи другой великой Лидии, Гинзбург, которая при таком сопоставлении кажется едва ли не ее антиподом. Праведный гнев первой, направленный на мракобесные тенденции советского времени, и рациональный аналитический вуайеризм второй (в лучшем смысле слова: отстраненное и предельно внимательное, безэмоциональное, прячущееся наблюдение с непрерывным личностным акцентом; постановка умных «диагнозов» наблюдаемому обществу) — два полюса, создающие равновесие моего мира.

Таким же необходимым чтением стали две книги Сергея Чуприна: «Оттепель. Действующие лица» и «Оттепель как неповиновение» (обе — «Новое литературное обозрение», 2023). Под конец года вышли его лекции «Современное литературное пространство», читаемые студентам Литинститута (М.: Литературный институт им. А.М.Горького). Казалось бы, разные жанры — но объединяет чупрининские книги скрупулезный энциклопедизм: для историка литературы ни одна блоха не плоха, поэтому (как уже отмечалось в «дружбинской» рецензии Светланы Шишковой-Шипуновой — 2023, № 10) героями «Действующих лиц» стали не только безусловные творцы, но и — чиновники, сметенные временем, оставившие определенный след — скорее не в литературе, а в социокультурном быте эпохи. В изложении Чуприна их вплетенность в литпроцесс — и сложная порой соотношенность с судьбами творцов истинных — обрастает едва ли не детективными взаимосвязями. Каждый очерк в «Действующих лицах» преподнесен как захватывающее мини-эссе, где оценочность (переходящая и в область этики, осознания простой человеческой порядочности или ее отсутствия) гармонирует с фактологической точностью и беспристрастностью. Статьи из «Оттепели как неповиновения» объединены сюжетом пребывания писателя во времени с его жестокой цензурой — и, опять-таки, важны нам как возможность соизмерить тех или иных персонажей с героями хаотичного «сегодня». Это все — о нас самих через историю. Зона личной ответственности, борьба с цензурой и уход в подполье, ярость против настоящего и прагматический взгляд в будущее (по Солженицыну из «Архипелага "Гулага"», выждать и сказать свою правду миллионам), — осмысление всех этих тем делает чтение книг Чуприна своевременным и обязательным.

«Современное литературное пространство» читаю прямо сейчас — и отмечаю все то же сочетание беллетристической занимательности с энциклопедизмом. Однако последнее качество здесь соотносится скорее с вниманием к массовой культуре — мимо нее автор не прокатывается на роликовых коньках снобизма, как это чаще всего бывает, но анализирует на уровне персоналий как, может быть, низменную, но всё равно неотъемлемую часть литпроцесса.

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

Эссе Михаила Эпштейна (книга «От Библии до Пандемии», «Азбука-Аттикус») и Ольги Балла («Дикоросль-4», издательство «7 искусств») в очередной раз доказывают подвижность границы между чтением и перечитыванием: давно знакомы основные авторские сюжеты (и это знание внушает отдельное удовольствие), но поиск ответов из «сегодня» делает осознание каждой строки в этих книгах едва ли не ошеломительно новым.

Еще одно открытие — вряд ли только нынешнего года, оно продолжается в режиме нон-стоп, но ощутилось и в 2023-м, — насколько умное, интеллектуальное и граждански ответственное сейчас поколение двадцатилетних и тех, кто чуть младше. (В недавнем интервью «Учительской газете» руководитель «Подписных изданий» Михаил Иванов осмыслил социологические причины этого: «Нас посещают дети нулевых и конца 1990-х, когда уровень жизни в стране повысился в связи с ростом цен на энергоресурсы. Эта молодежь воспитывалась в особой среде с запросом на интеллектуальную составляющую. На рубеже веков чувствовались отголоски 90-х, было модно быть дерзким, злым и агрессивным. Сейчас в обществе есть запрос на то, чтобы быть умным...») Списки лучших поэтических дебютантов уже третий год составляю для «Формаслова» (очередной выпуск — 15 декабря), о подборках и именах могу говорить много, но, поскольку речь о книгах, то отмечу четыре сборника.

Стас Мокин («Дневник», книга, вышедшая в самиздате): переживание юности, подростковости с ее потоковым выговариванием, некоторой сумятицей переживаний и — что важно — сюжетом произрастания «странного» ребенка в мире недетского ужаса. Речь с явными признаками неопрIMITивизма, но обнаруживающая органику внутри непривычного для поэзии типа высказывания. Здесь сложно говорить и о подражании искусственного поэта наивному письму, и о простоте массовой культуры, — стихи Мокина не встраиваются в схемы, каждый раз оставляя нас с перевернутым представлением о привычном.

«Свалка» Ростислава Ярцева («Формаслов»). Вторая книга автора, переросшего, пожалуй, статус дебютанта и занимающего полноправное место в современной литературе, — речь на краю невозможного. Здесь становятся органичными и высокопарность — ушедшая, казалось бы, из поэзии, — и редкое сочетание метафорической сгущенности с остросовременной социальностью. О возвращении «слов, образов, приемов, которые казались общими и потускневшими», об их способности «снова обретать индивидуальность и яркость» пишет и Валерий Шубинский в предисловии к сборнику, интересной статье о новом поколении молодых лириков. Но основная линия сборника — драматический нарратив, впрочем, тоже разнообразный: здесь и семейный эпос, и масштабные вещи социального характера, и краткие философские этюды, не миновавшие влияния Виталия Пуханова.

«Долгое дыхание» Павла Сидельникова (издательство «Наш современник»). «И жизнь. И жаль. И женщина шумела,/ Как яростный камыш в болоте топком,/ где водоросли — это волосы жены/ (за образ — получу по морде шлепком)./ А все другие камыши восхищены». Удивительная трансформация шестидесятничества, высокопарность которого намеренно снижена — и доходит чуть ли не до постмодерновой эклектики; одомашненная ирония, и все это — при сохранности прямоговорящего лирического начала.

«Причина идти дальше» Матвея Цапко (вышедшая в электронном варианте). Как мне кажется, после этой книги должна измениться наша привычка говорить об осознанных приемах «версификации» и «техники» как о порицаемом «умении писать».

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*

Цапко своим методом доказывает, что архитектурная сконструированность может быть продолжением поэтического дыхания, а не эквилибристикой. Вдвойне интересно, что эта изощренность — внутри подлинного верлибра, где специфически значимый для прозы сюжетный уровень сочетается с пронзительным лиризмом.

Из старшего поколения хотелось бы отметить книги «Голоса в голове» Нади Делаланд («Делаландия») и «Раздетый свет» Елены Севрюгиной («Синяя гора»); оба сборника объединяет погружение в стихию языка, так точно отмеченное Геннадием Калашниковым в предисловии к Севрюгиной. Другое открытие — «Облаком всех» Евгения Кремчукова (М.: Воймега; Ростов-на-Дону: Prosodia). Сборник Кремчукова удивляет гармонией, не свойственной современной поэзии, погружает в гармонию, настаивает на ней: от образа семейственности, который становится центральным в первом же стихотворении («разные земли и воды прияли в себя остальных/ но протекает сквозь сон однокомнатной жизни/ медленный вечер в котором все еще живы/ тетки за женской беседой —/ в сторонке от них») и который красной нитью проходит через всю книгу, — до соприкосновения прошлого и настоящего, где отменяется линейность времени и все находятся рядом, священные близкие и любимые призраки.

Однако самым большим открытием стал сборник поэта ушедшего (и до сих пор не ясно, существовавшего ли; и, как ни «удивительно», — сборник, прошедший мимо критики). Книга Фёдора Терентьева (1944—1983) «Неполное собрание стихотворений» вышла в самиздате благодаря ростовским энтузиастам во главе с критиком Сергеем Толстовым. Лукавая книга, таящийся создатель которой, явно не избегший «последующих» за его альтер-эго влияний поэзии (в том числе Рыжего и Жданова), намеренно входит в образ трагического героя-маргинала. Однако в силу абсолютного инкогнито автора каждое из таких суждений остается лишь в области догадок. Важнее — стихи: «я встал от шума бензопил/ деревья режут/ как эллинов у Фермопил/ и слышен скрежет/ цепи гуляющей внутри/ ствола осины/ напоминает кровь зари/ цвет древесины». Удивительные, с их перевернутой логикой мироздания, мандельштамовской логикой ассоциаций — и его же соседствующим пребыванием в мировой культуре и авторском настоящем.

*Елена Лепишева, литературный критик, прозаик (г. Минск)*

## Разобшение культурного поля

Круг чтения, конечно, сузился. Более того, я могла бы озаглавить эту часть своих лититога-2023 «Письмо в бутылке без джинна и без ответа».

А получить его хотелось бы. И ответ, и письмо, да, пожалуй, и джинна, если понимать под ним чуткого собеседника, заинтересованного в том, чтобы вспышка между вами переросла в интерес к литературе, поиск ее новых берегов, а не «алкоголя». Желчное, настоянное на нереализованных амбициях, или слащавое, угодливое конъюнктуре — вовсе не то, что хотелось бы видеть в качестве флагманов литературного

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

процесса. К сожалению, видеть приходится. Как и разобщение культурного поля на фрагменты, страты, мотивированные ментально и идеологически.

Для меня уходящий год выявил сложность в отслеживании книжных новинок. Связано это прежде всего с сосуществованием литературы в метрополии и эмиграции, что заставляет вспомнить опыт советских лет. Очевидное отличие в использовании IT-технологий, благодаря которым новые произведения, изданные за рубежом, становятся доступны читателю, но вот политика книжного рынка, где над эстетикой доминирует прагматическая установка, налицо.

Остановлюсь на опыте белорусских издательств в условиях релокации. Независимые проекты направлены на поддержание национального вектора литературы, создающейся на аутентичном (белорусском) языке. В результате среди десятков книг, вышедших в издательствах «Вясна» (Чехия), hochroth Minsk (Германия), Skaryna Press (Великобритания), «Янушкевіч» (Польша), практически все написаны по-белорусски. Такой приоритет, безусловно, понятен, однако думается, русскоязычные авторы не менее нуждаются в поддержке и выходе к широкой аудитории. Остается надеяться, что акторы литературного процесса придут к необходимости консолидации общих усилий для поддержания национальной культуры (для которой языковой фактор не является доминирующим в силу исконной гетерогенности), что крайне важно в условиях бифуркации мирового сообщества.

Если же говорить о круге чтения, то признаюсь, что он включил неожиданные вещи. Год прошел с обостренным ощущением ценности культуры, гуманитарного знания о мире — стремления охватить его разные полюса, хотя бы пунктирно наметить ответы на вызовы современности. Мир — разноцветный флаг с множеством полутонов — мир прочитывался мной в научно-популярных координатах. Открыла для себя Асю Казанцеву\* («Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» (Москва: АСТ, 2023)), научную журналистку, окончательно убедившую меня бросить курить, доступно раскрывшую проблемы социального гендера, женской биометрии, причины осеннего сплина etc.

А вот чтение книг, выстроенных на стыке научного исследования, журналистики и документальной прозы, обращенных к болевым социально-политическим точкам XX века, оставило впечатление если не тревожности, то драматичности исторического момента. Интеллектуальную летопись 2023 года мне сложно представить без работы журналиста-международника Александра Баунова «Конец режима: как закончились три европейские диктатуры» (М.: Альпина Паблишер, 2023), посвященной тоталитарным режимам в Испании, Португалии и Греции.

Что касается художественной литературы, то здесь мое внимание было сосредоточено на ее заведомо непримиримой ипостаси. Создается она отнюдь не «топовыми» авторами, привлекательными, однако, тем, что в их эстетических стратегиях напряженный поиск доминирует над стремлением вписаться в одну из существующих жанрово-стилевых ниш. Интересно живое, трепетное, возможно, мимолетное — то, что правильнее было бы назвать интенцией развития литературы. История учит, что именно на этой основе рождается новое, примером чему служат эксперименты Серебряного века, отголоски которых ощутимы в направлении, обозначенном как «метамодернизм».

Так, обращает на себя внимание «гротескный» стиль с элементами фантастического реализма, реализованный в произведениях Филиппа Хорвата, писателя, критика, книжного блогера. Запомнились рассказы «Моя борьба»

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*



(на платформе «Прочтения»), «Числа Чибоначчи» (на «Дискурсе»), повесть «Красные оттенки серого», пока не опубликованная. Так вышло, что ко мне попала не только ее рукопись, но и повесть Михаэля Кондратовца «Архивариус» (вышедшая на «Дискурсе»), объединенные подступами к травме современного молодого героя с его небезосновательным социальным скептицизмом, тотальной (само)иронией, погруженностью в виртуальный мир, поданными с помощью гротеска.

Могу ошибаться, но по написанию лититогов складывается вектор моей читательской рефлексии (неотделимой от научно-критической). Новейшие тексты ищут ответ на вопросы: что происходит с человеком в атомизированном обществе и действительно ли обстоятельства препятствуют его выходу из модуса Homo Confusus (согласно определению известного биолога и психолингвиста Татьяны Черниговской, данному еще до пандемии)?

В силу своей профессиональной деятельности критику я чаще писала, чем читала. Но по той же причине познакомилась с новейшими драматургическими текстами, созданными авторами из Беларуси. Конец предыдущего года ознаменован для белорусского культурного пространства утратой одного из его виднейших представителей — театроведа, критика, педагога Алексея Стрельникова, которого я считаю неформальным лидером культурного андеграунда нашей страны. В память об Алексее был создан сборник пьес «Внутри слов», открывший серию «Стрелы тишины» в издательстве Романа Цимберова. Помимо текстов русскоязычных драматургов, принадлежащих к разным поколениям, Константина Стешика, Алёны Иванюшенко, Влады Хмель, Марии Белькович, Коли Музыченко, книга снабжена двумя предисловиями: «Непрерывные шаги» о личности Стрельникова и его роли в развитии независимого искусства в Беларуси и театроведческим — о новых интонациях белорусской драматургии.

В 2023 году обратилась и к «женской» литературе. Не скажу, что выбор был обусловлен читательскими симпатиями, скорее профессиональным интересом: проблемой «женской» стратегии письма, взаимодействием разных уровней эстетической иерархии литературного процесса, корректностью их разделения, исходя из новейших писательских практик. В белорусском (русскоязычном) контексте меня привлекли книги Аллы Златковской «Страшно жить, мама» (Мінск: Янушкевіч, 2018) и подготовленная к изданию «Девочки-стекло» (изд. Р.Цимберова), раскрывающие жизненные перипетии матери и дочери, тесная связь которых делает их версиями одной судьбы. В этих текстах мне не хватило масштаба авторского мышления: бытовые подробности, узнаваемые детали Минска с его заснеженными микрорайонами, пустынной набережной в парке, привычкой жить тихо, не привлекая к себе излишнего внимания, выписаны точно, но могли бы сложиться в срез социальный, который углубил бы проблематику повести.

Не хочется проводить некорректные параллели, но вот в зарубежной версии «женская» тема выстраивается с проекцией на общечеловеческое. Так, Виктория Ллойд-Барлоу вошла в лонг-лист Букеровской премии 2023 года с романом «Маленькие птички сердца», в котором сугубо личная проблема героини — расстройство аутического спектра — подается как ментальный эскапизм, невозможность нащупать ниточки диалога с дочерью, а «зеркальность» ситуации в случае с «нормальным» подростком делает проблему эмоциональной глухоты универсальной.

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

Пожалуй, в некотором смысле стратегии писательниц уравнивает Екатерина Манойло, которая уже обращалась к проблеме взаимоотношения родителей и детей в дебютном романе «Отец смотрит на запад», отмеченном престижными российскими премиями, а в новой книге «Ветер уносит мёртвые листья» (М.: «Альпина. Проза») продолжает поиск художественного решения проблемы самоидентичности юных женщин, преодоления «зоны комфорта», которой парадоксально становятся насилие, инертность восприятия потери.

А вот на нонфикшн / автофикшн в 2023-м по странности не тянуло. Слышала о новинках в этой области — книгах Михаила Шемякина «Моя жизнь» и Дениса Драгунского «Подлинная история Дениса Кораблёва», но пока желание ознакомиться с ними уступило интриге в связи с выходом «Киноспекуляции» (Cinema Speculation) Квентина Тарантино (М.: «Индивидуум», 2023). Здесь меня привлекло смешение жанров: ненавязчивая, предельно субъективная версия теории кино, поданная в форме заметок на полях, сочетается с размышлениями о режиссерской практике Бергмана, которая становится триггером для самого Тарантино, что, по-моему, носит характер не уязвленных амбиций, а лукавой улыбки Джокера.

На другом полюсе моего читательского интереса оказались книги, предлагающие альтернативные модели реальности, перемежаванные с повседневностью. Среди них произведения как русских (сборники рассказов Евгении Некрасовой «Золотинка» и Анны Старобинец «Серебряный Ашолотль»), так и зарубежных («До самогорая» Ханьи Янагихары, «Книги Якоба» Ольги Токарчук) писателей. Объединяет их совмещение модусов до и после катастрофы, которую можно понимать многопланово (от исторического слома до апокалипсиса), созидающее художественный универсум, выстроенный на взаимопроникновении знакомых маркеров реальности и ее изначной, «иной» версии. При этом экзотика мира, смоделированного авторами (будь то сочные описания быта Подолья XVIII века у Токарчук или три параллельных исторических среза у Янагихары), не препятствует восприятию его эмоциональных контраверз и недотыкомков, оставляющих послевкусие грядущей беды. Насколько «экзотичен» тотальный контроль и пандемия Янагихары, есть ли «фантастика» у Старобинец или откровенно хоррорская вуаль — ширма реальности, смывшей глянец телеэкрана? Для меня вопросы открыты.

В мире по-прежнему множество разных людей, разнообразных интересов, взглядов, прочтений. Ощущение от первой страницы зависит от скорости восприятия, опыта, дня недели. Поэтому не могу не посоветовать пропускать все, что вашей душе угодно пропустить, а читать то, что необходимо вам прямо здесь и сейчас. Если это кофе с молоком, то пускай будет кофе с молоком. Пока чай с жареным рисом стоит на полке и ждет своего времени.

\* Внесена в специальный реестр иностранных агентов Минюста РФ.

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?  
Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*

*Александр Марков, литературовед, культуролог (г. Москва)*

## «Здесь и сейчас» как интуиция постпандемийного мира

В 2023 году исчезло желание следить за «новым», как ждут нового Пелевина, нового Сорокина или нового Водолазкина. Дело не в том, что писатели стали хуже писать, а в том, что изменилась сама социальная ткань. И Сорокин, и Пелевин работали с пористой тканью советского и постсоветского языка, с ее заплатами, лакунами, швами, показывая, что будет, если эти слова начнут действовать серьезно, какая на самом деле реальность будет зиять там, где мы чувствовали прежде только нехватку смысла. Теперь ткань стала другой, и иногда кажется, когда читаешь мировые новости, что сейчас историю пишет какой-то захудалый писатель, не умеющий сводить концы с концами, допускающий провисание сюжетных линий в пределах десяти страниц, не мотивирующий поступки героев. Такое письмо должно было вызвать ответ романистов, и назову только два из прочитанных в 2023 году переводных романа. «Времеубежище» Георги Господинова — дистопия, с большим числом цитат из «Волшебной горы» Томаса Манна, в которой показано, что будет, если плохой писатель нашей истории сведет концы с концами и все дружно проголосуют за возвращение в прекрасное прошлое. «Новые волны» Кевина Нгуена — тоже дистопия из мира сетевых стартапов, в которой исчезающие сообщения мессенджера должны отпирать всех в прошлое, но и концы бунтов тоже свести невозможно.

Расширился круг чтения или сузился, сказать трудно. В тех областях, которые меня больше всего интересуют как критика, книга уже не выступает отдельной единицей: она может быть сначала представлена как сетевой сериал (что было с «Комнатой Вагинова» Антона Секисова, о которой я уже писал в журнале («ДН», № 12, 2023), или же сопровождаться большим числом реальных и сетевых мероприятий, как это происходит с поэзией. Конечно, и во времена Сапфо поэзия была погружена в литературный быт, но сейчас книга может быть и стримом, и текстом, и представлением ее одновременно. Причем в отличие от популярной поэзии, где это необходимое рекламное сопровождение, здесь это эксперимент с самой формой, каким он был и в эпоху «книг художника», и в эпоху ксерокопированных авторских изданий. Сегментация литературной жизни после пандемии также способствует кристаллизации местных литературных школ и их способов самопредставления.

Как раз по количеству наименований я больше читал нон-фикшн, который позволял посмотреть на происходящее со стороны. Скажем, вполне впечатлила недавно переведенная книга «Геометрия скорби» Майкла Фрейма — попытка разложить скорбь на составляющие и смоделировать философию здесь и сейчас. Вообще, это «здесь и сейчас» как интуиция постпандемийного мира, что нужно здесь, в своей квартире, собрать мир, лежит на многих новинках нон-фикшн, включая все исследования природы, экологии, мхов и слизи, которые во множестве сейчас выходят. По-новому стал звучать русский авангард: скажем, прочел вышедшее в 2023 году четырехтомное собрание Бориса Арватова, теоретика производственного искусства. Этот авангард покоряет умением сказать, что история — это не ряд образов, которые

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

мы частично отбрасываем, а частично сохраняем, а целые пласты высказываний, и пока не научился смело говорить сам, нечего судить о закономерностях истории. Все бесплодные споры, каков наш исторический момент и прав или ошибся Фукуяма, разбиваются об эту смелость.

Открытием для меня стал выход русского перевода второго тома труда «Индивид» Жильбера Симондона. Без этой книги трудно понять споры во французской теории, о тексте, теле, разуме, подражании природе. Симондон создал для французской теории такую сетку понятий, как Гегель для немецкой философии, так что даже человек, не ссылающийся на него, когда нужно заострить проблему, мыслит как Симондон. Существенно, что этот мыслитель вел диалог с кибернетикой, пытался понять, когда в мире машин может произойти индивидуация — и это необходимо в нынешних спорах об искусственном интеллекте.

А так впечатлений много, например, только что прочел новую книгу нашего культуролога Владислава Дегтярёва «Память и забвение руин». В ней меня привлекла идея различения меланхолии, которая делает человека сверхчувствительным, и ностальгии, которая в чем-то инфантильное чувство: ностальгия возвращает нас в детскую, но детскую, полную продуктивных фантомов, мечты о далеком плавании. Дегтярёв, разбирая истории естественных и искусственных руин, эстетики руин, показывает, как можно найти равновесие между меланхолией и ностальгией, которое и не позволит прятаться во «времеубежище». Вот эту книгу я бы посоветовал прочесть.

Как всегда, радуют серии нон-фикшн, скажем, серия «Интеллектуальная история» издательства «Новое литературное обозрение». Есть книги, которые я сейчас начал читать, прежде всего, «Семечки», издание записных книжек Константина Вагинова. Дело не только во внимании к фигуре Вагинова, которое будет только возрастать по мере сегментирования литературного поля, но в том, как вообще функционировало письмо в авангардную эпоху. Мы привыкли к письму, которое кажется плакатным и фельетонным, — таково упрощенное восприятие авангарда. Но на самом деле письмо авангарда — выражение сознания героев, которые уже допустили для себя что-то — собственную смертность, или собственное гротескное величие, или собственное юродство. Такое письмо, как у Вагинова, и в записных книжках, и в романах, пытается найти тело для этого допущения, все-таки как-то облечь это телом, чтобы произошло, по выражению А.Л. Зорина, появление героя. Но в романах приходится подчиняться романским условностям, тогда как в записных книжках мы видим само это дело поиска. В каком-то смысле Вагинова надо читать для понимания Булгакова, или Олеши, как Симондона надо читать для понимания Делеза и Дерриды.

Если же говорить о моем читательском опыте на протяжении всего 2023 года, — то это опыт перечитывания. Например, со студентами мы читаем работы Вальтера Беньямина о Бодлере или работы Жака Дерриды о Целане. Еще десять лет назад казалось, что это просто опыты критической теории и критики языка, когда вслед за поэтом философ показывает, что далеко не все можно сказать, что поэзия оказывается инструментом зазора между необходимым и возможным, катастрофой, обрушением привычного. Но сейчас в этих работах открывается еще один мотив: поэт как вдохновение для себя, поэт как неожиданное божество самому себе. Романтический культ гения был напыщенным, но это не значит, что постепенно голос другого, голос друга не может стать таким голосом гения, голосом, указывающим, что вот, достаточно посмотреть — и само бытие возвращается к нам.

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*

*Николай Подосокорский, литературовед, литературный критик, блогер (г. Великий Новгород)*

## Идеал как вызов, дела царевича, мир сновидений и «Путешествие в Элевсин»

Ежегодно я полностью прочитываю примерно девяносто книг. Некоторые книги, помимо этого количества, читаю лишь фрагментарно (к примеру, нужные мне главы из больших обзорных трудов) или бросаю их читать, если они вдруг оказываются неинтересными и бесполезными.

Структура моего годового чтения вот уже несколько лет остается почти неизменной: это несколько священных и душеполезных текстов, два-три десятка исторических монографий, одна-две дюжины классических художественных произведений, ряд научных трудов о Достоевском и мировой литературе, несколько сборников поэзии и современной прозы и проч. В январе в течение всего месяца я медленно и вдумчиво перечитываю Новый Завет, и это погружение в главную книгу христианской культуры дает мне заряд творческой энергии на весь последующий год. Также в течение года перечитываю отдельные книги Ветхого Завета и труды выдающихся христианских подвижников. В этом году на меня сильное впечатление произвела «Книга Товита», рассказывающая о том, как архангел Рафаил помог вернуть зрение благочестивому Товиту и изгнать демона Асмодея из Сарры, ставшей женой Товии (сына Товита). Впервые прочел и знаменитый «Путь Паломника» Джона Беньяна, написанный им в тюрьме, в которой он в общей сложности провел двенадцать лет за свои религиозные убеждения. На мой взгляд, эта великая аллегория христианского пути к Богу во многом и стала такой популярной именно потому, что за ее создание автором была уплачена столь высокая цена.

В этом году я много читал книг, посвященных жизни и трудам митрополита Антония Сурожского, который для меня является одним из главных светочей христианства в XX веке и настоящим мудрецом, значение которого выходит за рамки одной религии. Я убежден, что со временем его и официально канонизируют. Владыка Антоний учил тому, что и сегодня христиане могут и должны быть подобны апостолам, готовым «перевернуть мир», и что им «не следует стремиться быть незаметными и приспособливаться к существующему положению вещей». Он говорил: «Идеал — не мечта, идеал — вызов, нечто, что должно быть достигнуто».

Также традиционно читаю несколько книг фэнтези и фантастики — в этом году это были романы «Бесплодные земли» Стивена Кинга (из его цикла «Тёмная Башня») и «Мельмот Скиталец» Метьюрина (его я впервые прочел лет пятнадцать назад, и потому решил освежить впечатление); сборники рассказов «Разговоры с дьяволом» Петра Успенского, «Рассказы о привидениях» Монтегю Родса Джеймса, «Новое Будущее» под редакцией Сергея Шикарева, «Таков ад. Новые расследования старца Аверьяна» Владимира Микушевича и др.

Каждый год новым замечательным романом радуется Виктор Пелевин, и это для меня тоже обязательное чтение. Замечу, что его «Путешествие в Элевсин» лишь по форме похоже на фантастику, по сути же — это чистый реализм, который можно

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

назвать *мистическим* или *реализмом в высшем смысле*. Лично я воспринимаю его книги абсолютно всерьез и считаю их автора глубоким и оригинальным мыслителем, который, впрочем, не отделим в нем от гениального художника.

Кроме того, ежегодно я прочитываю в среднем более десяти книг, посвященных наполеоновской эпохе. Мой интерес к этой теме давний, и он связан с моими научными изысканиями. В этом году это были несколько биографий британского вице-адмирала Горацио Нельсона (М.Куриева, В.Шигина, К.Хибберта), жизнеописание младшего брата Наполеона — Люсьена Бонапарта, разные мемуары времен царствования Александра I (особенно поразили меня воспоминания лейб-медика Дмитрия Тарасова), биографии А.А.Аракчеева и М.М.Сперанского и проч. Графа Аракчеева в последнее время все больше принято считать «эффективным менеджером», который не жалел никого и ничего ради решения высших государственных задач. Но когда читаешь подробности его отношения к зависимым от его произвола людям, то понимаешь, что его недобрая слава была во многом заслуженной. К примеру, в его новгородском имении Грузино от телесных наказаний не освобождались ни женщины, ни старики, ни дети. Активно применялись графом кандалы и рогатки. Как пишет историк В.А.Фёдоров, «по неделям и месяцам ходили люди с рогатками на шее (даже на богослужение в церковь), которые не давали провинившемуся возможности прилечь». Подвергшиеся же жестокому истязаниям (из тех, кто знали грамоту) должны были писать своему мучителю, что они «рабы презренные и верноподданные его испытали достойное возмездие за свое согрешение, мучаются угрызением совести и умоляют господина своего укротить праведный гнев свой».

Из личных открытий года отмечу труд писателя и историка Якова Гордина «Царь и Бог: Пётр Великий и его утопия» (Вита Нова, 2023), в основе которого лежит подробное рассмотрение «высокой исторической драмы» — дела царевича Алексея, обвиненного в заговоре против отца-самодержца и погибшего в тюремных застенках в результате жестоких пыток. Гордин показывает, что фигура наследника престола Алексея Петровича была гораздо более сложной, чем о ней долгое время было принято думать. Цесаревич знал немецкий, латинский и польский языки и был весьма начитан (в числе прочих книгами его снабжал князь Дмитрий Голицын, обладатель огромной библиотеки исторических и политических трудов). По выпискам, сделанным Алексеем из «Истории» Барониуша (Цезаря Барония), мы можем судить, что «форсированная жестокость властителей вызывала его явное осуждение». Неразрешимый конфликт между венценосным отцом и сыном был неизбежен еще и по той причине, что Пётр был «человеком войны по сути своей личности», а для Алексея «мир был императивом». Именно последнее во многом и ставилось ему в вину. Характерен в этом смысле донос властям на цесаревича от его любовницы — «чухонской девки» Ефросиньи, которая сообщала: «Да он же, царевич, говаривал: когда он будет государем, <...> войска-де станет держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствоваться старым владением...»

Наибольшее же впечатление из всего прочитанного за год на меня произвел роман Бонавентуры «Ночные бдения», впервые изданный в 1805 году. Собственно о его существовании я узнал поначалу во сне (мне приснилось, что я его читаю как «роман Шеллинга»). До этого я и не догадывался, что помимо философских сочинений Шеллинг написал великий роман (с конца XIX века его авторство активно оспаривают, но при его жизни в этом ни у кого не было ни малейших сомнений). Главный герой «Ночных бдений» — «ночной сторож» (сын алхимика и цыганки) — последовательно читает книгу своей жизни, в которой сокрыта тайна мира сновидений.

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*

*Валерия Пустовая, литературный критик (г. Москва)*

## Проверка контакта

В минувшем году я впервые участвовала в работе премии «Большая книга» в качестве эксперта. Предстояло в сжатые сроки прочесть десятки номинированных произведений. Для критика это, конечно, работа мечты: погружение в потоковое чтение, резкая синхронизация с литературной реальностью. Обычно я выбираю книгу поближе к своим жизненным интересам, литературным предпочтениям. А тут не приходилось выбирать, к тому же в силу особенности премии, ее широты, можно было не беспокоиться и о выборе между поколениями или жанрами, историей и актуальностью, бытовухой и фантастикой. Этот опыт действительно расширил мое поле чтения, хотя и не поколебал настройки восприятия. А необходимость оценивать прочитанное вынуждала до конца прочувствовать, насколько та или иная книга мне кажется состоятельной, наполняющей, обновляющей восприятие жизни и литературы.

Я предпочитаю следить за определенными авторами и жанрами, а также за внезапным созвучием между книгами, которое может перерасти в тенденцию или просто поможет, благодаря сопоставлению, лучше понять особенности каждой. Новая книга интересующего автора — риск для читателя, проверка контакта. Хочется сказать прежде всего об авторах, чьи новые произведения превзошли ожидания. Меня удивили книги рассказов «Остановка» Романа Сенчина и «Золотинка» Евгении Некрасовой, а также экспериментальный фантастический роман Аллы Горбуновой «Ваша жестянка сломалась». Здесь авторы остались максимально узнаваемы, верны себе — и в то же время достигли новой литературной свободы. Роман Сенчин сносит рамки того, что называют «историей» в значении story, пишет остросюжетный рассказ без события, оправдывая подзаголовок книги — «неслучившиеся истории». Евгения Некрасова убедительней и дерзновенней, чем раньше, венчает фольклорную архаику с ломовой злобой дня: раньше казалось, это современность плывет от прикосновения мифа, а теперь видно, как и сам мифологический слой корезит от токсичной актуальности. В то же время мрачные ее сказки странным образом укрепляют: герои Некрасовой все решительней оставляют роль жертвы, выучиваются владеть собой и судьбой. Роман Аллы Горбуновой мне показался автофикшном навыворот. Книга будто далека от того, что сделало поэта Горбунову известной как прозаика: здесь нет исповедальности о взрослении в девяностые, нет прямого самоисследования. Все в романе чужое, в максимальной степени не-я: и придуманная машинная личность, наделенная всезнанием, и не совсем обычные, а то и не вполне адекватные люди, которые свидетельствуют о контакте с ней. К тому же в число свидетелей автор набирает и известных людей, приводит чужие стихи и установки. Когда перед нами Ларс фон Триер изливает мечту об идеальном кино без изображения, это кажется насмешкой над жанром исповеди. Но в итоге эта книга, где столько голосов и все голоса точно принадлежат кому-то другому, оказывается странно близка. Горбунова погружает нас в стихию речи. Исповедальность тут сродни поэзии. Мы словно слышим хор и не замечаем, как сами к нему присоединяемся. В небольшом, но тематически обширном романе обязательно найдется точка входа для читателя — момент, когда и ему захочется взговорить. Несмотря на разноголосицу,

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

книга чувствуется очень цельной из-за единства тревоги. Это роман, где жаждут будущего, но боятся его сокрушительной силы.

Книги-открытия — от авторов, чью прозу я до этого не читала. Арсений Гончуков не новичок в литературе, однако его роман в рассказах «Доказательство человека» воспринимается как яркий дебют. Потому что это книга для широкого читателя, не поступающаяся серьезностью литературы. Гончуков пишет фантастические истории о конфликте между параллельными человечествами: биологическим, привязанным к телу, и цифровым. И сюжеты берет как для боевиков: подавление восстания, побег, погоня, десант, боевое братство, офицерская ошибка и т.п. Но все это воплощено на осознанном отдалении от киношности. Рассказы открываются как психологические. И книга если что и доказывает в человеке, так это неистребимость его привязанности ко всему хрупкому, ветхому — старообразно реальному — даже в эпоху цифрового бессмертия.

А вот на самом деле дебютировавший автор — Пётр Воротынцев. Я узнала его как автора книги для детей об истории театра. И только потом прочла его первые опыты в художественной прозе. Заглавная повесть из его сборника «Заведение» публиковалась в «Дружбе народов» (№ 4, 2022). Мне очень понравилась повесть, в которой оригинально соединились далекие сюжеты: взросление, творческое образование, быт людей с особенностями, неполная семья, фальшивый наставник, ложно понятое призвание. Книга же вовлекает и в мир рассказов автора — сжатых, порой миниатюрных, но психологически точных, задевающих найденным жизненным противоречием. Есть рассказы фантастические и бытовые. У меня впечатление, что автор особенно настроен на фиксацию прозы жизни, ее шероховатостей и зазубрин. Житейская наблюдательность в сочетании с неприукрашенным, лаконичным и едким письмом делают Воротынцева в моих глазах литературным единомышленником Романа Сенчина.

Очаровал и еще один дебют — первый роман Ильи Мамаева-Найлза «Год порно». По виду легкое, даже сдобренное юмором повествование о жизни молодого неудачника удивительным образом не скатывается в беллетристику. Книга получилась занимательной — но совсем не развлекательной. Герой, который не добился взаимности любимой девушки, разочаровался в дружбе, ушел из дома и зарабатывает подпольным трудом — переводит скудные реплики в порнофильмах, — оказывается проводником в неустроенность родного города и многих судеб. И именно благодаря особенному восприятию героя мы проникаем в чужие тайны и слабости без осуждения и без спасательского самомнения. Это книга о том, как ценно и побыть рядом — и вовремя почувствовать, что пора разойтись.

Две горькие книги, с которыми как раз хочется побыть подольше. Цикл очерков Дмитрия Данилова «Пустые поезда 2022 года» и повесть Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» — несмотря на то, что первая погружает нас в личное пространство и настоящее время, а вторая переносит на сто лет назад в Монголию, обе книги проникнуты общим переживанием тщетности. Это глубокая, заведомо явная тщетность. Зряшность усилий, обреченность любви, бесследность подвигов, растворимость слов. Обе книги являют ту глубину поражения, на которой только и возможно настоящее понимание жизни и принятие человека таким, каким он сумел быть в тисках личных или исторических обстоятельств.

Об этом принятии для меня и книга Оксаны Васякиной «Роза», завершающая ее трилогию памяти. Третья книга вызвала особенно полемичную реакцию. А мне она

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*



показалась самой пронзительной, до глубины ясной. Если в первых двух книгах автор разбиралась с образами отца и матери, то здесь воссоздан образ сестры матери — человека, которого и при жизни не очень-то замечали. Рядом с матерью и отцом героиня неизбежно дочь, а это тянет за собой и неутоленные запросы, и неисполнимые ожидания. Рядом с никому не интересной, не удалой, не знающей себя тетей героиня куда более свободна как наблюдатель. Фокус романа в том, как отражаемый и отражение меняются местами. Не только героиня, но и каждый читатель может ощутить себя на месте той, кому посвящена «Роза»: человеком без слоев защиты, без брони социальности, голым, обреченным, зависимым. Литература умеет превращать чужое в личное впечатление, личный опыт. И у Оксаны Васякиной получилось говорить о себе, глядя на не слишком близкого человека, и сказать о человеке, говоря по видимости о себе.

*Елена Сафронова, литературный критик, прозаик (г. Рязань)*

## О том, что творится силою воображения

Круг моего чтения остался прежним: он всё так же широк и состоит в основном из книжных новинок, следить за которыми — задача критика. Не обязательно на все откликаться, но фиксировать вновь вышедшие книги критик... сказала бы «должен», но сама же на круглом столе Русского ПЕН-центра «Литературная критика или навигация? Что важнее для читателя?» в рамках IX книжного фестиваля «Красная площадь» говорила о некорректности модальности «должен». Моя реплика называлась «Что и кому должна критика?» и гласила, что критика никому ничего не должна, как и любое другое искусство, ибо творится для истории. Критика символизирует «прочитанность» книги обществом и ее востребованность во временной момент. В идеале критический отзыв — не столько обязанность критика, сколько везение автора. Это кажущееся отступление важно для ответа на «опросник».

Я читаю столько же, сколько и в предыдущие годы, но в последнее время чаще воздерживаюсь от написания рецензий, что делаю, когда книга «не моя», чтобы это не сказало на отзыве. Меня равно не привлекают литературная неинтересность, малохудожественность — и гиперактуальность, обостренная политизированность. К художественной литературе я всегда тяготела, и в нынешних обстоятельствах тяга усилилась. Я постоянно цитирую «Толковый словарь» Владимира Даля: «Писатель — это литератор, сочинитель»; «Сочинять — значит творить силою воображения». По мне, писательство начинается там, где заканчивается исповедальность и «сиюминутность», — или там, где они преодолеваются, и человек говорит не о том, что лично видел, а о том, что творится силою его воображения.

В числе отрецензированных мною в 2023 году книг — журнальные версии романов Игоря Шумейко «Неконтактные племена», и Руслана Козлова *Stabat Mater*, и «легендария» Григория Аросева — Евгения Кремчукова «Святые рыбы реки Вспять». Сборник рассказов Елены Долгопят «Хроники забытых сновидений». Романы Шамиля Идиатуллина «Возвращение “Пионера”», Максима Замшева «Вольнодумцы»,

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

Екатерины Басмановой «Миллионы не моего отца». Сборники прозы Галины Климовой «Сочинительница птиц» и Галины Калинкиной «Идти по прямой». Все эти книги несхожи по замыслу, стилистике, идейной и идеологической базе, и они произвели на меня совершенно разное впечатление, не только комплиментарное. Однако все их авторы не писали «с натуры», а продумывали и прорабатывали художественные миры для развития повествования — то похожие на наш, а то совершенно ирреальные. Хочется остановиться на книге еще не «маститого» автора — Татьяны Жирковой из Санкт-Петербурга. Я откликнулась на ее книгу «Светлячок»: 10 рассказов с отдельными сюжетами и цикл историй о школе «Герасимов и другие». Писательница создает реалистичную и неприкрашенную, но добрую и теплую прозу. После «Светлячка» Жиркова издала книгу «Травка полевая», куда вошли старые и новые рассказы. О мощном гуманистическом послы автора говорят и нарочито «детские» и сентиментальные названия. Душевной прозы о детях в текущей литературе мало, и потому я надеюсь, что выход двух книг подряд будет благоприятен и для биографии писательницы, и для литпроцесса.

Я уже сказала, что сегодня меня особенно привлекает фикшн. Последний нон-фикшн прочла в 2022-м: монументальный труд Сергея Беякова «Парижские мальчики в сталинской Москве». С тех пор предпочитаю худлит, благо, много интересных книг критику сами плывут в руки. Критические статьи читаю в «толстяках», но если Бог пошлет хорошую книгу критики, отказываться не буду.

В числе книг, находящихся на стыке жанров, упомяну сборник «Немилосердные лета» поэтессы и прозаика Натальи Аришиной, изданный после смерти автора. Он произвел на меня впечатление эклектичностью в хорошем смысле слова: в нем есть пронзительные и проникновенные стихи, по большей части на публиковавшиеся ранее, содержательные мемуары и дневники (особенно любопытны страницы о литературной жизни СССР и Москвы перестроечного периода) и удивительная повесть «Восьмислойные облака». Вещь сложная, с дальневосточным колоритом, апеллирующая к владивостокской молодости писательницы, к японской культуре и мифологии и слабо поддающаяся пересказу, но раскрывающая Аришину как незаурядную «сочинительницу» в понимании В.Даля. Вообще же в последние годы я с беспокойством отмечаю засилье в современной прозе автофикшна. В глобальной дискуссии об этом явлении, которое одни называют жанром, а другие методом, я на той стороне, которая полагает: как явление ни назови, но для общего литературного фона оно, скорее, плохо. Как будто «серьезные» современные писатели утратили воображение, и оно осталось уделом только авторов, принадлежащих к стану условно «развлекательной» литературы. К ней я, к слову, отношусь с неизменным пиететом. В 2023 году написала большую статью о книгах Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и Елены Михалковой. Этот сравнительный анализ остросюжетных сочинений, русского и английского, о частных сыщиках, опубликован в журнале «Сибирские огни» (№ 5, 2023).

Для меня открытием ушедшего года стали исторические детективы о Золотой Орде краеведа и прозаика из Сызрани Сергея Зацаринного. Я прочитала два романа — «Венгерская вода» и «Шведское огниво» (АСТ) — и пришла к выводу, что это в гораздо меньшей степени детективы, нежели добротные исторические романы. Они лишены многих примет детективного канона. При этом ведущиеся в книгах расследования, начинающиеся с каких-то пустяков, порой якобы мистических, вписаны в контекст масштабных исторических событий и процессов, двигавших жизнь Золотой Орды

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*

в годы, которые занимают автора. О них Зацаринный знает если не все, то очень многое (в сравнении с кругом познаний о Золотой Орде рядового читателя, даже образованного). Книги Зацаринного выходят, видимо, издательской волей, в серии «Мастера исторического детектива». Но я бы назвала их удачным примером сочетания жанров. Легкий флер приключений и тайн в этих книгах вызывает в памяти романы по истории Отечества для юношества, которые в изобилии писались и издавались в годы моего детства — например, Константина Бадигина и иже с ним. Те были и научны, и идеологичны, и читались буквально взахлеб. Не стану рекомендовать «обязательно прочесть» Зацаринного всем желающим. Но тем, кто, подобно мне, ценит умение в увлекательной форме рассказать о сложном, его исторические романы с элементами детектива, думаю, понравятся.

*Аглая Топорова, литературный критик (г. Санкт-Петербург)*

## «Неожиданно открыла для себя Василия Шукшина»

В 2023 году мой круг чтения сильно изменился: я стала читать гораздо меньше новинок — социальные и политические события происходили сейчас так быстро, что вряд ли существует творческая да и техническая возможность их отражения и осмысления в прозе. А в последние полтора года у меня появилось так много новых вопросов к жизни, что на них вряд ли сможет ответить очередная книга о неудачной дефлорации, нарко-алкогольно-диско-течном опыте, семейная сага или дистопия о чем-то, что еще недавно пугало, а нынче прочно забыто. Так что в 2023 году я в основном перечитывала и читала мемуары и позднесоветскую литературу — Людмилу Петрушевскую, Ингу Петкевич, Юрия Нагибина, Владимира Маканина, Андрея Битова и др. Неожиданно открыла для себя Василия Шукшина — раньше мне как-то не приходило в голову его читать. Не обошлась я и без текстов, признанных в свое время антисоветскими или изданных в нашей стране только в начале 1990-х — например, «Говорит Москва» Юлия Даниэля, «Шатунов» Юрия Мамлеева, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Чтение этих книг не то чтобы позволяет разобраться в происходящем вокруг, а скорее успокаивает в том духе, что ад не столько снаружи, сколько внутри.

Мемуары и дневники, особенно блокадные, я стала читать и перечитывать еще в ковидный карантин: апокалиптические прогнозы, паника первых дней, разговоры о том, сколько купить тушенки, а сколько водки, и улицы с редкими прохожими требовали чужого опыта переживания — и физического, и эмоционального — надвигающейся катастрофы. В общем, ковид прошел, а привычка читать дневники и мемуары осталась. Тут ведь как в интернете: видишь имя, событие или цитату и идешь разбираться дальше — а кто это был такой урод или, наоборот, такой умница.

Но все-таки в 2023 году я не только зарывалась в прошлое. В январе руки дошли до «Степи» Оксаны Васякиной. Замечательный роман. Вообще, меня удивляет, почему произведения Васякиной принято относить к так называемой «литературе

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

травмы» — «Степь», например, это отличный роман о дороге, этакий прозаический вариант роуд-муви, где движение из пункта А в пункт Б переплетается с движением людей к пониманию и принятию друг друга.

Еще в этом году я прочитала столько стихов (текстов, записанных в столбик), сколько не прочитала, наверное, с юности. Правда, читала я их не с подростковым ощущением восторга от непознаваемого, сколько с холодным исследовательским и отчасти ерническим интересом. И это были не просто тексты, а произведения так называемой Z-поэзии — достаточно агрессивного в своем продвижении феномена современной литературы. Поскольку толковых статей, посвященных Z-поэзии и Z-поэтам, практически нет — в тех, что есть, разбор с точки зрения литературной ценности каждого поэта и каждого текста подменяется биографическими данными авторов: шахтерская дочь; потеряла любимых на войне; военкор; участник штурма такого-то населенного пункта, даже «взял рюмочную в Зюзино» и т.д. — то осмелюсь высказать свое мнение. Думаю, что это все-таки не феномен культуры, а некое общественное движение, тесно связанное с благородной волонтерской деятельностью и немного нелепой борьбой, причем в публичном поле, за госзаказы и всенародное признание. Ну и как в любом общественном движении в Z-поэзии есть и люди талантливые, и искренне убежденные, и конъюнктурщики-карьеристы, и ментальные инвалиды. В общем, как везде. Единственное, что их всех объединяет и, честно говоря, удивляет меня как наблюдателя, — это какая-то патологическая депрессивность лирики: смерть — героическая или случайная, тщетное ожидание, много крови и, опять же, на мой взгляд, напрасных обращений к Богу. У Z-поэтов не найдешь ни од, посвященных великим победам, ни героических баллад, где герой бы побеждал врагов и выживал, а не умирал, из последних сил выполнив боевую задачу. В общем, есть ощущение, что нового «Василия Тёркина» от Z-поэтов не дождешься. Да и с сатирой в адрес врага, если они вообще к ней обращаются, тоже получается на уровне третьей лиги КВН. Да и сам враг в Z-поэзии скорее экзистенциален: не поймешь, воюют они с конкретным жестоким противником или с бесами в собственных головах. И очень жаль, что нет пока критических текстов, которые осмыслили бы современную военную и антивоенную поэзию не в сугубо комплиментарных или, наоборот, нравственно-уничижительных категориях, а говорили бы о ценности каждого конкретного текста вне зависимости от биографии или политической позиции автора.

Хотя с критикой — а я всегда читаю много критических статей — в последний год стало как-то совсем печально: либо восхваления текста и его автора почти до пафоса некролога, либо разгром прокурорского свойства. Единственная, кому, на мой взгляд, удастся сейчас говорить о текстах и писателях разумно и нетривиально, это Анна Жучкова. Остальная критическая когорта — см. выше.

Самое приятное впечатление в 2023 году на меня произвел сборник эссе «Зоны отдыха», в котором москвич Антон Секисов рассказывает о своих прогулках по петербургским кладбищам. И хотя лично я кладбищ боюсь и разглядывать чужие могилы не особо люблю, «Зоны отдыха» — книжка одновременно познавательная, причем не только для тафофилов, трогательная и бодряя. Искренне рекомендую даже тем, кто не верит, что рано или поздно все мы там окажемся.

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*

*Александр Чанцев, культуролог, литературный критик (г. Москва)*

## Диверсифицированное чтение

Сузился. Сужают дела. Сужается он и сам со временем, как сужаются старые вещи, сохнут, трескаются.

Я всегда пытаюсь диверсифицировать чтение. Даже если читать *sûte de la sûte*, в каком-то одном направлении, то чтение может приестся, потерять вкус — после нескольких пробников духов в парфюмерной лавке дают понюхать кофейное зернышко, перебить и возродить. За новинками, как за публикациями и даже новостями (200+ вечно обновляющихся, чуть ли не ежеминутно, каналов в Telegram'e) следить в современном мире давно невозможно, поэтому постольку-поскольку, точно, по самым верхам, прыг-скок.

Перечитываю всегда Юнгера и Чорана, антидотов и антагонистов белого шума и некачественного стиля повседневности. Из старого брал еще Бибихина и Шестова, Эверса и Газданова, Шмелёва и Гуро, Шершеневича (кстати, и не совсем перечитывал, были новые издания) и Коупленда, Владимира Казакова и Целана, Налимова и Пригожина. Без них было бы хуже.

Больше читал нон-фикшн. Не только он гуще выходит, но и в процентном, так сказать, исчислении. Проза — это роман и рассказ? А все остальное, получается, нет. Нище — скорее нет. Да даже книги Николая Алейникова, которые он мне по эпистолярной дружбе присылал, проза ли? Мемуары, рассуждения, вкрапленные стихи — да, это проза, но новая. На такую, кстати, я более чем согласен, обычная же (вот взял распиаренные «Комитет охраны мостов» Дм.Захарова и «Гарторикс» Ю.Идлис) — слишком жидкий суп, даже без таракана на дне тарелки.

Из открытий и удивлений нового в прозе как раз отметил бы «Книги Якоба» Ольги Токарчук — неожиданно зайдя в область исторического и очень большого романа, почти саги, она была прекрасна.

Из наверстываний и упущений — потрясающий жесткий автор Энс Бьернебу, правда, на английском, потому что его до сих не удосужились перевести на русский. Из скандинавов и тоже на английском — книга об Иване Агуэли, западном суфии, анархисте, мистике, традиционалисте, экоактивисте, который, кажется, вдохновил обратиться в ислам самого великого и ужасного Генона.

Следует отметить и еще одно мое досадное упущение — роман «Мальчик» Олега Стрижака, который издал «Городец» в 2021. Настоящий стилист, Стрижак писал свою книгу в самые, казалось бы, враждебные тонкому и изысканному письму годы — в 1970-е — 1980-е. (Роман Олега Стрижака «Мальчик» был опубликован в журнале «Дружба народов» — 1991, № 8—9. — *Прим. ред.*).

Впрочем, лакуны иногда заполняют — «Моего трудного ребёнка» Альберта Хофманна и «Приближения» Эрнста Юнгера издали, но в пиратском, анонимном, сетевом переводе (то есть творчество масс, а не издательств, интересный момент).

Дивное было совершенно «Бегство из времени» Хуго Балля, да перевод тоже или не видел редактора, или пострадал от его креатива.

«Эротику» Лу Саломе издали гораздо лучше, слава белокурым бестиям.

И еще интересный момент. С английского и немецкого переводят/издают халтурнейше зачастую, а вот с японского, корейского и китайского — отлично. И даже весьма сложных, неформатных авторов вроде Юмэно Кюсаку, — но отмечу не имена, а деятельность востоковедческих издательств «Гиперион» и «Жёлтый двор». Возможно, ибо действуют профессионалы-энтузиасты.

Как и в случае упоительного «Дирижабль осатанел» Бориса Поплавского.

Хороши были новые исследования тех авторов, у которых они всегда хороши: Владислава Дегтярева, Александра Маркова и Корнелии Ичин. Из тех, что упустил раньше, это филологические работы Ильи Бражникова и посмертный сборник Людмилы Вязмитиновой «Тексты в периодике», что читается — отчеты о литературных вечерах 90-х и нулевых — не как что-то архивное, но как совершенно живой роман (к вопросу о смутных границах-фронтах фикшна и нон-фикшна).

Новые Хёг, Уэльбек и особенно Пелевин были весьма так себе, увы.

А вот Лю Цысинь — опять восточная литература вырывается вперед — на космическом уровне всегда, на краю научных изысканий.

Выход новой книги Татьяны Горичевой и, увы, посмертной (как много их даже в этом тексте!) Андрея Левкина — события, касающиеся не только ума, но и сердца.

Продолжающийся масштабный труд по русской Симоне Вейль Петра Епифанцева — настоящее подвижничество.

Нельзя не отдать должное и тому, что Алексей Дьячков продолжает работу по изданию наследия Виктора Иванова — в издательстве «Коровакниги» под конец года вышла очередная его книга.

И, если можно минуту рекламы, то яркие и глубокие, уходящие в те пещеры и выси, где живут религия, философия и просто необычные идеи, книги я старался собрать на этих же журнальных страницах в моей рубрике non-fiction Pro.

*Кирилл Ямщиков, литературный критик (г. Москва)*

## Всё, что было

В прошедшем году читал много, неумно. Может, потому что книги раз за разом попадались хорошие? Хроники, биографии — от «Кто убил господина Лунный Свет?» Дэвида Хаскинса до «Ангеловой куклы» Эдуарда Кочергина; уйма знакомой поэзии, изученной внове: *без перевода*. Роналд Стюарт Томас, Шеймас Хини, Уоллес Стивенс, та же «Озерная школа».

Хватило и Средневековья (Петр Абеляр, Эразм Роттердамский). Брел кругами, перелистывал забытое. Увидел в «Книге воды» Эдуарда Лимонова больше холода и снега, чем в любом датском анекдоте. Очень хорошо. Возможно, даже *слишком*. Близкое по впечатлению — «Спокойной ночи» Абрама Терца, «Лестницы Шамбора» Паскаля Киньяра, «И поджег этот дом» Уильяма Стайрона. Все, стоит заметить, примерно из одной грусти.

Ключевой глагол: *удивляло*. Речь, как правило, о книгах, которые я даже не намеревался открывать. «Римские откровения» Александра Бреннера и Варвары Паники

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*

(свежо), «Школа призраков» Романа Кима, «Люксембургский сад» Михала Айваза. Примерно так же попадались исследования, научные труды: Евгений Тарланов с монографией о Константине Фофанове, «Искусство жить либертена» Мишеля Делона, «Милош и долгая тень войны» Ирены Грудзинской-Гросс.

Не думаю, что во всем этом прослеживается методология или попытка собрать эстетическое переживание, но я взаправду удивлялся ветхой прозе и случайной документалистике. С огромным наслаждением перечитал двухтомник Венедикта Марта и трехтомник Гийома Аполлинера. Читать томами забавно. Как будто устаешь — и вместе с тем переизобретаешь восприятие. Так, наверное, легче проступают водяные знаки.

Однако — работа, благородное чтение, патина влияний. Был рад наконец-то приобрести «Эльд» Бориса Усова и прочитать на бумаге то, что годами слышал и переслушивал. Безупречные тексты; хочется назвать их поэзией, но чувствую, что определения здесь неуместны. Впрочем, цитирую, помню наизусть целыми страницами. Беспредельно трогательный мир.

Главное, конечно, за открытиями. Мне сильно понравился дебютник Анастасии Сопиковой «Тоска по окраинам» — своеобразный прорыв интонации, тоска и резкость, которых лично мне не хватало. Хороший старт: есть чем заинтересоваться. Близок ему «Валсарб» Хелены Побяржиной, книга также первая и также заметная. Польское барокко/белорусская неоготика прямо с туманов Дикой Охоты.

Занятно.

Сильное впечатление произвела на меня и поэзия Ксении Ковшовой. Эта своевременность, беспечность, с которой теряется любой испуг перед миром, не может не восхищать. Любопытно и то, что поэзия Ковшовой — совсем не литературных порядков, а, скорее, вызволенный хор, хор всеобщих человеческих ненастий, полифония без полифонии. В этих стихах попросту больше улицы, чем кабинета; тем и хорошо.

Да и более уместного названия для этого дебюта — «Легкие» — не подыскать. Книга, настроенная элегически-отчужденно, взаправду тянет за собой, играет, не наскучивает. Джазовые распевки, сбитые ноты, неровность и патологическое разнообразие. Живое, что ли, дыхание. Очевидно, что впереди еще много работы, но передо мной точно поэзия — и точно литература.

Продолжая тему биографий, упомяну «Значит, ураган» Максима Семеляка. В год выхода это чудо прошло мимо меня, но, кажется, нарочно; чтобы в нужный час прийти на помощь. Мало того, что это великолепное документальное исследование — исследование без дистанции, взгляд к взгляду, ведь Семеляк много лет дружил с Егором Летовым, — но это и первоклассная проза, которой трудно насытиться.

На моей памяти почти не было случаев, чтобы строго жанровая (*с ясными ограничениями*) книга работала вне контекстов и пониманий. Тут попросту все — и энциклопедия, и антропология, и пара-тройка курсов по истории музыки, и сама музыка: очарование мелодий, известных с детства, и попытка их отражения внутри стройного документального нарратива.

Именно такие тексты напоминают мне об условностях «ситуаций» литературы: подлинное рождается ниоткуда. Мы вольны находить стиль во всем, на что падает взгляд; и в воспоминаниях Семеляка этого стиля значительно больше, чем в повторении традиций, которые, вероятно, давным-давно и желали бы исчезнуть, но все еще держатся на ветру, подрагивают.

Что касается статистики, то, пожалуй, в моем чтении за год ничего не изменилось.

---

*Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?*

Привычная эклектика — и желание понимать: далекое, зыбкое, малозаметное. Я рад переводу романа «Догра Магра» на русский язык; это событие. Рад и тому, что у нас теперь есть Дженет Фрейм — поразительно талантливая новозеландская модернистка, которой не доставало внимания. Все меньше пробелов и все больше ясности. Как такое может не воодушевлять?

Инициативы перевода от года в год становятся значимей. Нельзя бесконечно пенять на времена, нравы; следует просто брать и делать. Должен появиться «Саттри» Кормака Маккарти; не так давно издали «Повести Нэвериона» Сэмюэла Дилэни. Раньше казалось, что спроса на экспериментальную прозу нет, но это великое заблуждение, и сейчас оно (как ни странно) рассеивается.

Очевидно, что интерес большинства все еще перевешивает в сторону переводной литературы, но мы выходим из контекстуального тупика. Готовность открывать свои феномены, расцвет независимых издательств, увлечение диковинными, загадочными артефактами культуры — и соответствующие им исследования — сильно облегчают последующие труды.

Да и возможностей по-прежнему достаточно. Важны постановка вопроса и строгая, бескорыстная работа. Некий простой в художественной прозе обусловлен временем, паузой целеполагания, но все еще безупречны литературоведение, культурология, поп-механика и внимание к ним. Прятать голову в песок нет смысла: развитие продолжается. Я прочитал много книг, изданных в двадцать третьем году, и вполне доволен прочитанным.

В любом случае — без энтузиазма открытие невозможно. Великолепную книгу могут упустить по тысяче всевозможных причин; лавина производства обуславливает затертость взгляда, и наша задача — рассказывать о действительно интересном, обращать внимание на то, что действительно заслуживает внимания. Время драгоценно, а книг, несмотря на проклятия в сторону литературы, меньше не становится. Что тут сказать? Продолжаем.

---

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?*

*Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*



*Валерия Пустовая*

## Чудо тёмное

Три не-триллера, нагнетающих страх — игровой, эстетический. Три отмеченных в премиальных списках романа признанных авторов, которым понадобилось прищипорить в читателе заметенные под коврик переживания: пустоту, бессилие, гнев. Три объемных высказывания, в которых ужас — центр удержания внимания, но не смысла. Три повествования, где страдают дети, — очевидно, чтобы о чем-то своем задумались взрослые.

Как и зачем в романе запускается темное чудо кошмара, куда уходит смех, за что расплачиваются дети и в какого бога верят насельники пугающей аномалии?

Мы исследуем ценностный мир и структуру фантазий, чтобы пробиться к жизненной правде, которая всегда сокрушительней страха.

И если в жизни страх — форма принуждения, то в литературе — форма художественного притяжения к правде.

### *Неуловимый Ча*

**Эдуард ВЕРКИН. снарк снарк. Книга 1: Чагинск. — М.: Inspiria. Эксмо, 2022.**

**Эдуард ВЕРКИН. снарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада. — М.: Inspiria. Эксмо, 2022.**

Двухтомник Эдуарда Веркина, по его признанию, вырос из впечатлений единого дня. В романе этот день занимает главу объемом около ста страниц, называется «мучительным»: потому что «долгим», «слишком много» вместившим, — и обрывается на слове «несчастье». «Несчастье стало с нами», — плачет один из героев на исходе долгого дня, хотя ни он, ни читатели еще не ведают, что случилось: о несчастье нам объявят в главе следующей, и то — к концу. День, вместивший «слишком много», событие — вытеснил. День, растянутый, как гармонь, на два банкета, с плясками, тостами, розыгрышами, обедаловом и тошнотой, не содержит центра. Праздничный день-паразит, он нарастает на повествовании, как гриб чага, в честь которого назван Чагинск — маленький северный городок, не отпускающий героев Веркина на протяжении двух томов. «Если говорить про зерно, то это оно», — указывает исходную точку автор в интервью. И точке дает название: «Такая дурная бесконечность возникла»<sup>1</sup>.

Как отследить развитие того, чего нет? Роман не стоит на месте, но будто и не движется. Мелькает, рябит, пошевеливается — зримо реагирует на главное, чего и глаз неймет. Мы чувствуем созревание сюжета: что-то жадно набухает, сыто лопается, разбрызгивает последствия, замарывая всех, — а что в точности произошло, не сможем

прощупать даже умом. Роман похож на вихрь темных мест — но в их кружении просматриваются и смысл, и структура.

«Исчезновение» — так герои называют то, с чем столкнулись в первом томе и к чему вернулись через семнадцать лет, в томе втором. Расследуют убийство, но называют — «исчезновением». В тот долгий праздничный день в Чагинске действительно произошло несчастье: пропали два мальчика-подростка. Но «исчезновение» — это не только про них. Мальчики пропадают — и запускается повествование с зиянием вместо центра. И все, что не пропало, протискивается через эту дыру и выходит наружу измененным, как наизнанку вывернутым. Исчезновение в романе материально. Это не развоплощение, а нарастание другой плоти.

Удача Веркина — макнуть читателя в потустороннее, не вынимая из коробочки. В околдованном городе тикают часики проклятия и грозно вещает старая ведьма, болота скрывают космодром и тоскует майской утопленницей станция «Мир», но небесный покровитель все уладит волшебным квадрокоптером, если только успеешь намазаться заговоренной «звездочкой», чтобы не почуял тебя и за тобой не пришел лесной хозяин шушун. Все это в романе существует — но на правах ассоциаций. Веркин и не пытается прописать незримое в реальности. Напротив, охотно подтверждает, что шушун произошел из детсадовской игры в прятки и от слухов, пущенных по наущению мэра для привлечения туристов. Про космодром герой сболтнул подростку в приступе красноречия, или, ехидствует роман, «логореи», и как потом всерьез отнестись к свидетельству, что пропавший мальчик «такую штуку видел»? Ну а ведьма просто местная сумасшедшая: шастает по городу, эксцентрично опираясь на велосипед, и изрыгает гадости о каждом, кого увидит.

Нагнетая саспенс, Веркин сам же его пародирует, и герой его начинает вольной цитатой из «Аэлиты» Алексея Толстого — в параноидальную старуху, сующую гостям в качестве оберега «звездочку».

«— Старая школа, — пояснил я. — Намажься желтой мазью, бедный сын Тумы, и нос Ча не учует тебя этой темной ночью.

— Кто такой Нос Ча? — спросил Роман».

Бытийный вес призракам придает не автор — а реакция персонажей. Шушун перестает казаться анекдотом, когда люди отгораживаются от того, кто разыграл с ним встречу. Космодром обретает мистические очертания портала из Чагинска в мечту, когда два подростка действительно собираются в лес на его поиски. То, что не распознавший цитату и отвергнувший волшебную мазь Роман передумал и «тщательно втирал “звездочку”», наглядно удостоверяет: «Ча здесь». И сумасшедшая набирает авторитет, когда выступает медиатором и экспертом: она единственная привечает у себя заезжих героев, как Баба-яга на границе сказочных миров, и дважды, в каждом из томов, является без приглашения на похороны, чтобы скорректировать неловкий ход обряда:

«— Крышка... криво встала, — пожаловался Роман. — Не лезет... Что делать?

Мы дружно посмотрели на Снаткину».

Снаткина — Знаткина: так хочется переозвучить фамилию сумасшедшей старухи. Родство ее с магическим миром видно и по тому, как соединены в ней нарочитая, фольклорного толка грубость, неряшливость, телесность: Снаткина проламывается через кусты, орет и воеет, хлебает суп из кастрюли, возится с прогнившими посадками; и призрачность: она возникает внезапно и своевольно уходит, говорит в никуда, будто бредит, и в то же время «неприятно удивляет» ясным пониманием ситуации, о которой высказывается без обиняков — например, перед похоронами: «Как потоптать, так все рады, за углом не сосчитаешь, а закапывать и за бутылку не соберешь...»

Снаткина может служить ориентиром для классификации персонажей: «межевым камнем», разводящим их пути. Персонажи делятся на простодушных свидетелей, жертв, злодеев и тех, кто ищет источник зла. Путь персонажа определен двумя

альтернативами: «знает — не знает» и «делает — не делает». Снаткина торчит межевым камнем потому, что совмещает в себе варианты: все знает — но живет заложником ситуации, много делает — но ни на что не влияет. И подсказки ее самые общие. «Уезжай отсюда!» — Снаткина театрально вступает в роман с реплики, которую будет потом твердить на разные лады.

«— Девке своей скажи, чтобы бежала <...>. Бежать ей надо, — повторила Снаткина. — А то опоздает.

— Куда? — спросил я.

— Откуда, дурак, — ответила Снаткина».

«Дураки» в романе — те, кто чувствуют, не осознавая, и осознают, не делая. Это персонажи в эпизодах: множители слухов, ретрансляторы страха. Это и жертвы: к ним, помимо пропавших мальчиков, можно отнести мать одного из них, Кристину, чье детство мы видим куда ярче невнятной и рано оборвавшейся взрослой жизни, а также мэра Механошина, обвиненного в растратах и подозреваемого в непреднамеренном убийстве мальчиков. Мэр будет карнавально развенчан в ролике, демонстрирующем, как он голым выловлен из реки рыбаками, но умрет тихо — кажется, оттого, что так и не разобрался, кому и сколько тут «заносить».

Сохранней те, кто пытается выйти из позиции жертвы: вести расследование. Это плясун Роман и библиотекарь Аглая, соревнующиеся с писателем Виктором за главную роль. Виктор формально главный и в романе, и в расследовании, но уклоняется. Осознанию противится, фактами не делится, инициативы саботирует. Он до самого конца удерживается от выбора пути. И это занятно отражается в образах его ближайшего окружения.

В двухтомнике Веркина интенсивно работает удвоение. Дурная бесконечность — это еще и о законе парных случаев, рокировке двойников, отзеркаливании.

Второй том — зеркало первого: писатель Виктор и плясун Роман возвращаются в город, где сами же боялись увязнуть и откуда их снова, как семнадцать лет назад, вытесняют местные. Возвращаются, чтобы расследовать дело, обреченное остаться нераскрытым. Об этом в каждом из томов сказано с афористической точностью: «Мы что-то явно узнали, но мы не знаем, что мы узнали, — повторил Роман»; «Мы можем что-то найти <...>. Но вряд ли мы сможем использовать то, что найдем». Правда, которой доискиваются Роман и Аглая, неуловима, и поиск их выглядит наивно, как напрямик заданный вопрос.

Во втором томе, действуя заодно с Романом и Аглаей, писатель Виктор попадает в треугольник, зеркалящий отношения детских лет. Приезжая подростком в Чагинск, он втягивался в опасные игры с местными детьми Кристиной и Фёдором, — и теперь, уже сорокалетний дядя, снова втянут в не им придуманную игру, и снова с привлекательной, как когда-то Кристина, девочкой Аглаей и другом-соперником Романом, в этой роли дублирующим мальчика Фёдора. «Поиграли в детективов», — так отзывается Виктор об остросюжетной интриге второго тома.

Виктора, Романа и Аглаю объединяет не только интерес к расследованию, но и неопределенность социальной роли. Роман бросает танцы, как Виктор уже бросил художественную литературу, и Аглая — библиотекарь на замену, бывшая жена, уволенная пиарщица — «неудачница», как характеризует ее, несмотря на влюбленность, Виктор. Впрочем, когда-то Аглае несказанно повезло. Вырасти в несчастливую женщину и полноценную героиню во втором томе ей удалось, потому что «выкрутилась», не пропала в первом: тогда, будучи еще «мрачной девочкой», она вовремя заболела и не пошла с приятелями-мальчиками в лес, откуда они не вернулись.

Призвук неудачи, обреченности есть и в образе как будто торжествующего над Виктором друга детства. Выросший во взрослого дядю Фёдор играет против главных героев: грозит, старается вытурить, даже покупает Виктору и Роману билеты

из Чагинска, обещая вручить на перроне вместе с отобранными паспортами. Фёдор — единственный в книге сотрудник местной милиции, во втором томе большой начальник. И все же он не ловчей Романа, над которым смеется. Фёдор при власти и при деньгах, но за ним тянется шлейф трагикомической неудачи. Вот он мечтает отдохнуть за шашлыками — но вместо удовольствия получает ожог. Жалуется, что жена его не хочет рожать, а соседи «окучником шлепнули» любимого питомца. Всю жизнь он презирает «мелкий вонючий городишко» Чагинск, но так и не находит стимула переехать. А главное, он, как и Роман, тщетно пытается выяснить, что происходит. Угрожая героям, он транслирует чужую волю: «Я чувствую, тут опять что-то мутится, а мне никто не рассказывает». Фёдор с детства лжив и хамоват, но он не тот, кто творит «настоящее зло».

Роман в отношениях с писателем Виктором — двойной дублер: заменяет ему и друга детства Фёдора, и напарника по бизнес-проделкам Хазина. В начале первого тома Виктор прибывает в Чагинск с фотографом Хазинным, но их пути расходятся, а рядом с Виктором появляется Роман. Как и положено двойнику, Роман знакомится с Виктором по ошибке: вселяется в номер Хазина. Подмена напарника значима: наглядно иллюстрирует перепутье Виктора. Роман честный, но в противостоянии злу беспомощен. С ним не считаются, называют «смердом», принимают за оруженосца или прихвостня Виктора. Хазин, напротив, переходит на сторону сильных: начав заодно с Виктором, предаёт его. Присваивает их общую подработку, наряду с чиновниками впрягается в подготовку Дня города — еще одного праздничного дня, которым тут прикрывают какое-то другое дело, изнаночное, темное, страшное. Те, кто участвует в нем, — вершители. Они не только чувствуют и знают «настоящее зло», но и — творят его.

«Мне не нравится слово “выбор”. В нем безнадежность ночного перекрестка», — отбивается Виктор от предложения выбрать сторону силы, тем более что она в романе одна. Не хочешь играть на стороне силы — якшайся с неудачниками. А неудача для Виктора — болезненный опыт, триггер.

Виктор не встает на сторону силы, потому что не видит в ней доброго. И не делает доброго, потому что не верит в его силу.

Путь Виктора прочерчен надежанием, как последние страницы дневника пропавшего мальчика — таинственным красным прочерком. «Отползай, ты же в этом деле мастер», — подначивает Фёдор. И сам Виктор признает: «Я старался отодвинуться, хотел стоять в стороне, не слушать и не участвовать». Он прикидывается «идиотом» и даже «на всякий случай» проговаривает вслух: «Я не представляю угрозы».

Подобно волшебнику-дошколенку из вселенной «Гарри Поттера», Виктор творит магию неосознанно. Его сила не более чем побочка ерничества и тоски. Но ореол могущества возникает. По мнению Снаткиной, Виктор «вроде как спас Аглаю» — хотя он лишь участвовал в споре, по итогам которого девочка Аглая выиграла ведро мороженого, заболела и не пошла с приятелями в загадочный последний поход. Покровитель Чагинска бизнесмен Светлов ковыряет Виктора требованием писать «настоящую» книгу, прямо указывая на силу, которой писатель наделен, но не пользуется: «Вы, Виктор, злостный уклонист, а терпение муз безгранично. <...> Жизнь — есть сокращение и укорачивание, в сущности, падение в воронку. Задача писателя — это падение затормаживать, в идеале из ямы вытягивать, во всяком случае стараться. А вы... скажем так, пренебрегаете».

О силе слова как центральной идее романа проницательно пишет автор развернутой рецензии на «Фантлабе»: «...Слово против мира. Все 1450 страниц, по сути, посвящены тому, как человек с переменным успехом противостоит реальности с помощью языка. <...> Автор показывает, что против пугающей реальности у человека ничего нет, кроме слов, из которых можно соорудить себе как своеобразный скафандр в агрессивной

среде чуждого пространства, так и целый виртуальный мир, заслоняющий то, на что говорящему почему-то очень не хочется смотреть. <...> Мир не меняется от сказанных слов, магическая функция языка действует иначе: она перестраивает мировоззрения людей, поверивших услышанному или написанному»<sup>2</sup>.

Пока наивный Роман доискивается правды, Виктор творит мир из лжи — то есть из слов, не подкреплённых реальностью. Конкуренция мифов, вспыхнувшая было между официальной линией Чагинска и выдумкой Виктора, погашается зеркальным омутом романа, «дурной бесконечностью». Ни патриотичный богатырь Пересвет от мэрии, ни просветительский адмирал Чичагин от Виктора никогда не существовали в истории Чагинска, и поэтому знаменательно пуст постамент для исторического памятника в центре города. Чичагин не пророс на почве Чагинска, потому что надобности в просветителях тут нет. Зато пускают корни и побеги другие выдумки Виктора: подросток верит ему, что в лесу строят космодром, а весь город подпадает под обаяние пушечного им слуха, что в Чагинске построят атомную станцию. Город верит в то, что давно выбрал сердцем: гарантированные атомной станцией рабочие места, строительство, льготы и пенсии. Зеркальный выворот этим чаяниям придан той же трикстерской волей: именно Виктор сболтнул про потекший при раскопках для станции радон, и, когда строительство замораживается, а Чагинск вступает на путь из города к поселку городского типа, местные винят радиацию как безличную, подставную ипостась зла.

«Настоящая» книга против «настоящего» зла — красивое и романтическое прочтение. Вот только требование «настоящей» книги исходит из уст героя, зарекомендовавшего себя треплом. Фигура бизнесмена Светлова — одна из самых притягательных и загадочных в романе: если Снаткина — ведьма, то Светлов — верховный маг. Не только будто бы говорящая фамилия окутывает эту фигуру, как Гэндальфа, белым плащом. В сцене, где мы впервые видим Светлова, работает волшебное искажающее зеркало романа, сопоставляя этого персонажа с мэром Механошиным. Сатирический слой повествования тоже сшибает эти два образа: можно долго и зло распространяться о безнадежности социального строительства, в котором чиновник постигает, как ковер, город под ноги денежному мешку — потому что мешок, в отличие от чиновников, готов предложить местному обществу внятную модель развития. Но в системе романа важнее невербальные сигналы силы. Механошин в первой же своей сцене ведет себя как будущая жертва. Каждый жест его пробивается через сопротивление среды и тут же срезается. Мэр заводит часы через дырку в пленке — но, когда часы начинают бить, пугается и отскакивает. Пытается открыть окно — и не может. Его все время дергают, вызывая из кабинета. А в кабинете хлам из-за ремонта и нет воды — как нет силы жизни. Мэр выглядит кукольным, действующим не по своей воле. Напротив, Светлов, потягивающий из пластиковой тары «бесконечную», как заговоренная жизнь, лапшу и от души, не по щелчку похотывающий, выглядит в чужом кабинете богом — настолько сильным, что может позволить себе расслабиться под личиной человека.

И то, что божество это облажалось в попытке «осчастливить» чагинцев, не убавляет его обаяния. Казалось бы, в системе романа Светлов заслуживает разжалования до неудачника. Недаром в конце первого тома он наравне с неудачниками Виктором и Романом, случайно встряв, участвует в похоронах никому в Чагинске не нужной, осиротевшей без сына Кристины. А во втором томе и вовсе пропадает — мы встречаем его только под конец книги в образе «психа с удочкой», инкогнито явившегося в вымирающий Чагинск рыбки половить. «Налимов в ведре скопилось много, вода стала густой от слизи. Хотел окуней, а ловит налимов. Это же скучно, пора бы бросить, но он ловит их и ловит», — Виктор наблюдает за Светловым с возрастающим отторжением. А нам в этот момент может прийти на ум странная фраза-рифма из первого тома, где Светлов высказывается о творчестве как о своеобразной рыбалке: «...Человек должен

писать стихи, рисовать картины, сочинять музыку. Это — сеть, только в нее можно поймать...»

Светлов хотел построить в Чагинске бумкомбинат, реорганизовать библиотеку, музей, больницу — образы будущего в его устах раскатисты, как гром, и так же бесследны. «Мы серьезно относимся к экологии. — Светлов жевал. — Рекультивация, технологии восстановления, глубокая переработка». Ну а мы серьезно относимся к словам Светлова, пока за ними маячит материализация нового будущего. «Поправим. Все обязательно поправим», — обещает он, картинно приподняв, но так и не запустив остановившиеся в кабинете Механошина часы. Но едва получив денежную помощь, учреждения города закрываются: на реорганизацию, как на вечный сон о не наступившей весне. И котлован, раскопанный под комбинат — или, как местные надеются, под атомную станцию, — остается затопленной ямой, пополняя скудный bestiary города образом местного Кракена.

Создается материально не подкрепленное, как словеса о будущем, впечатление, что Светлов — бенефициар. На день города не явился, будущее провалил — но не явился и провалил потому, что свое получил.

Едят ли кошки мошек, едят ли мошки кошек? Гибнут ли два подростка оттого, что хиреет Чагинск? Или Чагинск погибает потому, что из него исчезли двое детей? Два исчезновения: мальчиков и города — в романе оказываются связанными.

«Тому, кто в Твин-Пиксе ни разу даже на долю секунды не задался вопросом, кто убил Лору Палмер», адресует роман «снарк снарк» Евгения Лисицына<sup>3</sup>. Наиболее точно и органично вписанная в роман разгадка «исчезновения» двух подростков требует выхода за пределы двухтомника, подключения к контексту того, что Веркиным написано ранее. Автор этой трактовки — критик Василий Владимирский, но и он ее ввернул не в свою рецензию на «Горьком», а в дискуссию к чужому Телеграм-посту. Я уцепилась за коммент и попросила Василия Владимирского дать развернутый комментарий — специально для этой статьи и тех читателей, кого все-таки мучает вопрос, «кто убил». Я и сама из таких, и до того, как мне попался коммент Владимирского, рада была собрать самые разные читательские версии — как крохи искомой в романе «правды». Так, пользователь Нифонт на «Фантлабе» убедительно развивал гипотезу о жертвоприношении подростков, дойдя в своих наблюдениях до обвинения в каннибализме<sup>4</sup>, а комментатор дискуссионного поста о романе «ВКонтакте» цитирует трактовку читателя под ником bag66, в которой Светлов предстает в самом деле богом, раздающим по заслугам: «В первом томе Светлов помогал рассказчику, надеясь, что тот станет Человеком и Писателем, но в промежутке между томами рассказчик явно не оправдал надежд <...>, и поэтому во втором томе Светлов его не жалеет и никак не помогает ему»<sup>5</sup>.

Трактовка Владимирского, в отличие от приведенной, сохраняет амбивалентное обаяние Светлова. «Алексей Светлов из “снарка” до степени смешения похож на другого веркинского “гения, миллиардера, плейбоя, филантропа” — центрального антагониста из раннего цикла “Хроники Страны Мечты”. Обаятельного, харизматичного, очень неглупого, говорящего много воодушевляющих, правильных слов. Который, сюрпрайз, выкупал детей из неблагополучных семей, из детских домов, а иногда просто похищал, чтобы использовать их в своих экспериментах. Такая параллель, в общем, многое в “снарке” объясняет: не трудно догадаться, что убийца — дворецкий» (*полный текст комментария Владимирского читайте в сноске*<sup>6</sup>).

Я не боюсь сослаться на разгадку — потому что по многим причинам это не спойлер. Скорее — самоутешение читателю, который может удобно повернуть роман под свет выбранной интерпретации. Ведь даже эта трактовка освещает в романе многое — но не все. Двухтомник Веркина выстроен не под разгадку — а под ее отсутствие, «исчезновение». Текст романа безусловно сигнализирует о связи между пропажей мальчиков и гибелью Чагинска, и все же не назначает мальчиков первопричиной

событий. Прочитываются и намеки на жертвоприношение — причем вроде бы не вполне завершенное, так что во втором томе выросшей Аглае все еще угрожает невидимая опасность. Но попытки принять любую версию за полную «правду» упираются в то же отсутствие — фактических обоснований. Как сетует читатель в упомянутой дискуссии «ВКонтакте»: «А вообще откуда инфа, что принести в жертву надо именно троих, а не одного или двух? К тому же дети в Ч. водились, можно хоть каждый месяц нового...»

Скажу больше: связь между исчезновением мальчиков и угасанием города не кажется узловой. Это не Рубикон, не поворот из света во тьму: из многообещающего будущего в сжимающуюся микровселенную Чагинска.

В зеркальной анфиладе романа поворотных моментов не счесть. Узловую позицию на какое-то время занимает, к примеру, укус лесной мыши. Фотографа Хазина кусает мышь — а три дня без сознания в больнице валяется Виктор и, когда приходит в себя, обнаруживает в очередной раз, что «Чагинск изменился»: Хазин перековался, а его самого выписали из гостиницы и из проекта.

Но может быть, дело не в мыши и не в мальчиках, а в этом проекте? И рокировка случилась еще в детстве, когда стать писателем мечтала Кристина — а писать начал Виктор? Обнаружил в себе талант по приколу — и не научился относиться к литературе всерьез. Романтичная Кристина, честный Роман, даже начитанная Аглая пытаются связаться в литературу со всей ответственностью — но сюжеты в изобилии, цепкие наблюдения, яркие и живые образы приходят к тому, кто литературу предал. «Второй роман так и не взлетел», — второе же предложение, зачин долгостроя Веркина, сообщает об «исчезновении» творческом. Неплохо дебютировав романом, который он обещал посвятить Кристине, но отмахнулся от обещания так же, как от своего таланта, Виктор попытался, как Хазин, перековаться — в коммерчески успешного «писателя ужасов, большого и счастливого человека». Но признан в качестве «мастера локфика, мастера для никого»: автора парадных книг о прилизанной истории «трудов и славы» маленьких городов. Вот и в Чагинск, город детства, он вернулся только ради заказа от здешней мэрии, возмечтавшей о «книге про Чагинск, город высокой культуры и славы».

Или, может быть, дело в самом этом возвращении? Ведь бабушка велела Виктору никогда не возвращаться в Чагинск: «не цепляться за мертвецов», не дразнить шушуна, который «тебя чует»?

Или дело в самой бабушке, ведь она «не просто так женщина» — по словам Снаткиной, к концу романа сдвнувшейся из ведьмы в такую же пленницу Чагинска, какими предстают героини-неудачники? Бабушке, которая застряла тут на всю жизнь, потому что полвека прождала мужа, пропавшего в годы войны под Сталинградом? И тогда в центре событий — «исчезновение» не мальчиков, а деда...

Получается, нет в романе переключателя из реальности «правильной» в вывернутую, нет перехода из Чагинска, чьи улицы герой «помнит прямыми», в город «безлюдья» и «кривизны».

Сломанные часы и отсылающая к знаку бесконечности восьмерка колес велосипеда Снаткиной — Никита Мина, подчеркнув в рецензии эти детали, проводит ассоциации с «Матрицей» и признает Чагинск «уже давно мертвым»<sup>7</sup>. «...А вообще здесь давно ничего нет, и никого нет, только он. — Кто? — Так он. Остальные все умерли», — подходящая цитата из романа тут как тут. Но такие прямые, как линейкой в лоб, символы — не Веркина уровень. Он кормит страх читателя тем, что подвернется и, вопреки названию второго тома, вовсе не нуждается в миссии к снегам Энцелада, чтобы соприкоснуться с непознанным.

Достаточно посмотреть, как однажды утром к его герою в окно лезет Хазин, чтобы жуть включилась, как древний инстинкт — вопреки глазам и разуму. Напарник Виктора подставил, поэтому ничего удивительного, что он не кажет лица, приходит

тайно. Но в пластике его прочитывается приневоленность зомби — романом о которых Виктор напрасно надеялся преуспеть: «Хазин настырно проталкивал нетренированное туловище в окно. Это продолжалось так долго, что я засомневался — не дурной ли это сон <...>. Хазин извернулся и вдвинулся в окно спиной. Это был, пожалуй, самый нелепый из опробованных им способов, мне показалось, что Хазин застрял — спина ерзала в окне, Хазин кряхтел — и вдруг, как крем из кулинарного рукава, выдавился в комнату. Перекатился боком, вскочил, навис над постелью, схватил меня за жилетку и стал трясти. Делал он это абсолютно безобразно: вытаскивал из койки, затем бросал обратно, вытаскивал — бросал».

Не остановка времени — а одновременность всего, не переключение реальностей — а их проницаемость. Веркин создает пространство смещаемого смысла, где из слов и вещей, людей и отношений постоянно выкатывается ядро. Получается развернутый на два тома лимерик, оправдывающий любой абсурд. И «слово против мира» тут не работает, потому что тоже подвержено подмене. Веркин обращает не прямое высказывание в многожанровое искусство. Слово в романе «ерзает», лезет в мир «спиной», «безобразно» заедает. Черновики писателя, застольный треп, казенные речи, звоночки деменции, легенды, слухи, клевета — как выделить из этого космического бульона лжи первовещество информации?

«Переплетение огромного количества нарративов в рамках одного произведения размывает границу между реальным и выдуманным и помогает автору создать фантастическую действительность, не допуская при этом грубых и явных нарушений законов физики и элементарной повествовательной логики», — Никита Мина приходит к точному и неизбежному выводу, что роман не ограничивается магией остановленного времени и велосипедной «восьмерки».

То, как распорядился герой во втором томе уликами, собранными с трудом и без славы, кажется честному Роману предательством общего дела. Однако к этому моменту не только главная улика — кепка одного из мальчиков, запачканная кровью, — обращается из факта в подлог, но и цель расследования зеркально разбегается в отражениях. Герои Кэрролла охотятся на Снарка, а настигают зловещего Буджума. Герои Веркина, наоборот, ищут убийцу — и не замечают, как в мыслях создают ему антагониста, «пилота»: именно «пилот» инициирует действие второго тома, разослав главным «неудачникам» первого значимые вещи, которые кажутся им «подсказками». «Тот, кто хочет препятствовать нашему расследованию, вредит, а тот, кто хочет нас поддержать, помогает», — честный Роман расчерчивает мир надвое, думая, что уловил суть. Но суть в том, что они не только легко могут совпасть, как совпали в романе «подсказки» и уловки, творчество и «сеть», благодетель и демон, корни и пустота, знатка и свихнутая, «лучшая девушка» и «неудачница», — но и могут оба оказаться проекцией героев, «настырно» ищущих в абсурдной реальности центр.

«Кто?» — раз от раза остающийся без ответа, ключевой вопрос романа являет лик пустоты и одновременно прирастает смыслом. «Выходит, что расследование ведется не о том, куда пропали мальчики, а о самопознании», — опять попадает в точку уже цитированный рецензент с «Фантлаба»<sup>8</sup>. Непрямое говорение героев Веркина — способ самораскрытия.

Как и говорение прямое, принадлежащее в романе единственно Снаткиной. В отличие от других чагинцев, она не повторяет слухи, а сама творит послание. И в отличие от писателя Виктора, ее слова знаменуют поступки, а поступки проявляют отношение. Виктор, с подростковых лет таящий обиду на Кристину, застревает в безразличии, которое только во втором томе прорывается вышедшей из-под контроля острой болью утраты: «Я не успел прикусить до боли язык. Не успел хлопнуть себя по щеке, чтобы досталось еще по зубам, шелкнуть по носу, закрыть глаза и рявкнуть, не успел, я вспомнил ее так быстро, что не смог ничего этому противопоставить.

Кристина».



Тогда как Снаткина — единственный в городе человек, проявивший к Кристине деятельное милосердие, в романе, впрочем, неизбежно искаженное зеркальностью. Вот она расшевеливает горющую по сыну Кристину, как мертвую: «Надо есть. Надо ходить. Надо помыться. Сейчас поедем и причешемся, а потом пойдем гулять», — и обращается к ней на похоронах, как к живой: «Ничего, не переживай, я по тебе заплачу...»

«Поворот не туда», — только и может подумать Виктор о несчастной Кристине. Но «туда» ли поворачивает в финале сам? Критик Евгения Шафферт прочит Виктору за границами романа «задачу поистине вселенскую: предполагаю, что теперь он вечно будет помогать Снаткиной и компании сохранять временное безвременье Чагинска»<sup>9</sup>. Внук «не просто так женщины», автор сбывающихся вран, Виктор вполне способен взять на себя миссию по спасению Чагинска — что в двоящейся реальности романа равнозначно тому, чтобы целиком провалить свою жизнь. Подобно адмиралу Чичагину и Пересвету, Виктор «никогда не жил в Чагинске» — но именно поэтому может занять символическое место на пустующем постаменте. Как сам он парадоксально объясняет плясуну Роману, он тут «чужой в квадрате», «потому что остался»: никто из настоящих чагинцев не остался бы в Чагинске, если бы прибыл в город извне.

Мы приближаемся к разгадке тайны детства, изобильно проявленного в романе — но на правах сна, воспоминания, из которых нет портала в нынешний Чагинск, как из Чагинска — на Энцилад. Возможно, ключевое «исчезновение» романа — не детей, а детства, причем не как концепции — а как личного опыта.

«Веркин с легкостью имитирует “крапивинский стиль”, но детство как последний островок чего-то ясного, чистого и светлого — определенно не его идея-фикс», — замечает Василий Владимировский в рецензии<sup>10</sup>, а в данном по моей просьбе комментарии раскрывает в Викторе «результат эволюции» еще одного «типажа» фантастической прозы Веркина: «Неоднозначная фигура, человек, когда-то побывавший в той самой Стране Мечты, мечтающий вернуться туда — и одновременно боящийся возвращения, не верящий в чудеса, но мечтающий о чуде».

Чагинск не «Страна Мечты», и чагинское детство не утопия: слишком связано с болью. Старшие ругают, юная Кристина не отвечает взаимностью, Федька одерживает верх, бабушка доживает и после не велит приезжать, чтобы попрощаться. Кроме того, летние приключения трех друзей из воспоминаний подсвечивают самую реалистичную, бытовую версию «исчезновения» двух мальчиков из нулевых: становится очевидно, что в годы детства и Виктор мог в любой день навернуться, покалечиться, подраться, заблудиться, пропасть.

И все же Чагинск будто возвращает Виктору утраченную часть личности — и именно детскую. В герое оживают детские мечты, вплоть до мечты о «маленьком паровозе» с «синим дымом», и детские сны о «высокой траве» и близком небе: «подпрыгни чуть выше, и оно тебя унесет», — и детский же, взрослого Виктора «пугающий интерес» к жизни. Как мальчик, он зависает на велосипеде под окном понравившейся девушки, хотя и опасается, что та выберет соперника помоложе. Да и Снаткина с велосипедным ломом в доме может символизировать не только восьмерку бесконечности, но и воссоединение с детской памятью.

Старость в сознании героя — абсурдная подмена, еще один выворот реальности: «Когда видишь старух, никак не можешь представить, что они когда-то были детьми. <...> Потом, непонятно когда, начали стареть. И непонятно от чего. Пошли в лес за грибами, а вернулись другими». Так и повзрослевшего героя словно подменили. «Ты был хорошим, добрым мальчиком, — сказала Снаткина. — Я помню». Герой мысленно продолжает ее реплику: «Я был честным и добрым мальчиком, но с годами стал сволочью и дерьмом».

«Кто» виноват, кем подстроено «поворот не туда»? Герой демонстративно клянет Кристину: «воспитала своего придурка в придурочном духе», — не потому ли, что дух

этот так понятен ему, и себя называющему «идиотом»? В самоописании Виктора, «притянувшегося» в Чагинск, проступают подневольные черты увлекаемого ребенка и выловленной рыбы: «...Что-то меня тянуло, волокло за сальные вихры, за скользкие жабры», — и в то же время — осознание полной свободы: «...Мог бы не ехать, мог отказаться, никто и не принуждал...»

Детское поле романа показывает, что «исчезновение» так же связано с жертвоприношением и убийством, как и со свободной волей детей к риску и поиску. Непойманный убийца манипулирует природой детства — преследующий его герой убивает детство в себе. А в нем все то, с чем больно сжиться.

Виктору из начала первого тома, вопиющему о неудаче «не взлетевшей» книги, отвечает Виктор из финала второго тома, принимающий неудачу как часть себя: «Ненаписанная книга — это очередное поражение, — сказал я. — Про это неприятно вспоминать, но поделаться с этим нельзя ничего... Надо жить дальше».

Дурная бесконечность — это реальность, не имеющая в себе источника управления. Вопрос «кто?», задаваемый своему отражению. Оставаясь «жить дальше» в городе, которого всю взрослую жизнь избегал, Виктор, возможно, приносит себя в жертву детству — зеркально отражая так и не раскрытое жертвоприношение детей.

Чагинск для него — воронка неудач. Память обо всем, что не удалось, он вытеснял, стараясь выстроить жизнь ловко, рационально, по-взрослому. Но жизнь с вытесненной сердцевиной изматывает, как «сюрреалистические сны»: когда «сознание отторгает», оно «работает на повышенных оборотах, ты словно проживаешь еще один день, порой более мучительный».

Утверждающий практику «купирования мыслей и редукции эмпатии», Виктор всю жизнь бегал от абсурда реальности. А оказалось, что сам, напрягая силы, его творил.

Когда начинаешь рассказывать о романе со слова «несчастье», трудно подобрать к тому, что делает его читателя счастливым: смеху. А между тем смех — принципиальное измерение текста Веркина. Нонсенс — эхолот ужаса, — красивенько придумала я о романе, но можно сказать и наоборот. Смех в романе мерцает, взаимно обращая друг в друга глупость и жуть. Я помню, как, слушая роман в первый раз в формате аудиокниги, будила ночью спящую рядом грудную дочь — потому что натурально тряслась от смеха. Но это роман растрясывается, окончательно слетая с оси.

Ужас романа — в иссечении ядра: из личности и города, из литературы и любви, открываемых любому наполнению. И смех «против мира», как «слово против мира», тут не работает. Смех заодно с миром — против человека, который ловил его в сети своего смыслополагания и не поймал. В том числе — против автора, тоже словно иссеченного из истории, целиком передоверенной герою-писателю, роли автора избегающему.

Это центробежный мир, который истоиво ищет ядро нового притяжения — чтобы вовремя срулить. Правды мы не дознаемся. Но в себе расслышим новую, натренированную романом отзывчивость к нелинейным подсказкам жизни.

## *Морок справедливости*

**Анна СТАРОБИНЕЦ. Лисьи броды. — М.: Рипол-Классик, 2023.**

«Логику хаоса» воспев, роман Анны Старобинец «Лисьи броды» помещает читателя в оковы порядка. Это кажется парадоксом, пока гипнотически действует ключевой рефрен романа, подчеркивающий, что в реальной жизни, «по логике вещей», исход коллизии очевиден, «но есть еще логика хаоса — его иногда называют судьбой», и потому в романе сейчас все будет не так, как бывает. «Бывает так» —

еще один рефрен романа, приглашающий читателя разделить сочувственное внимание к герою, напрасно думающему выиграть спор с судьбой. Непреклонная воля, подстраивающая мир под себя, — атрибут каждого из героев романа, но всех обставит автор: нацеленно сведет множество сюжетных линий в одну точку. Можно сказать, что эта точка — городок Лисьи Броды в Маньчжурии, «проклятое место», где «в человеке рождается зверь» и откуда только «мертвые могут выйти». К чести автора, впрочем, отполированные эти слоганы произносят персонажи: в кошмарном сне — и в приступе безумия. Но можно назначить точкой, где все сходится, идейное поле романа, про которое в критике писали, что «идей тут нет»<sup>11</sup>.

Нет идей, нет исторической правды, нет психологизма, нет новизны. Или, напротив, есть, и слишком много: персонажей, фактуры, непредсказуемости, слоев смысла. «Это очень скучная вампука», — выносит приговор Вадим Нестеров, отказывая роману во «внутренней логике». Ниже на онлайн-странице его коллега по работе в жюри премии «Новые горизонты» Екатерина Писарева выдает роману поздравительные ярлыки: «Виртуозно, свежо, по-хорошему жутко и смело»<sup>12</sup>. Дихотомичные отзывы сродни миру романа: в нем тоже важна «дихотомия» — это опорное для анализа слово употребляет критик Наталья Ломыкина<sup>13</sup>, имея в виду то самое противопоставление «логики вещей» — «логике хаоса». Не единственное, кстати, в романе, сталкивающим такие взаимоисключающие понятия, как «человек» и «зверь», «свой» и «чужие», «живое» и «мертвое», «наука» и «сказки».

Но в том и дело, что дихотомию роман не выстраивает — а побеждает.

«Лисьи Броды» — книга осознанного выбора, и выбор делает в пользу хаоса. И городок Лисьи Броды героям кажется «проклятым местом» только потому, что им самим трудно заметить, до какой степени он отвечает их сути. Замкнутое пространство, откуда ведут магически окрашенные пути: через мост, через лес, в лодке по реке, — создает намеренную условность, сказочную аномалию. Эта сказка удерживает героев внешне — но внутренне позволяет полностью раскрепоститься. Слоган «в человеке рождается зверь» стоит понимать не как околдовывание — а, напротив, как саморазоблачение. Главное же — счистить с этого обещания плевки страха. В Лисьих Бродах в человеке рождается зверь — и это скорее зачаровывает, чем пугает.

Темное обаяние романа — следствие его нарочитой сказочности и нацеленного сопротивления этой сказки тому, как «бывает».

Метафоры романа пропитаны духом гниения и кровью — это выглядело бы нарочито, если бы не общая яркость фона. Тягучие рефрены, ритуальные любезности, перескок точки восприятия, настырные детали, рвущиеся дослужиться до символа. Шрам в виде иероглифа, который в романе истолковывают как знак «хозяина», на груди главного героя, меняющего имена, но не кожу, — интригует. Но тот же шрам на теле его антагониста, или вырезанный недоброжелательным визитером на столе, а то и на груди проститутки, а то и проступающий родимым пятном на животе не собиравшегося обнажаться персонажа, — начинает мозолить глаз. Лисицы с двумя или, бери выше, тремя хвостами у Лисьего озера, на секретном фото из испытательной лаборатории, в хищном логове — «Гроте Посвящённых» — прошивают роман янтарным орнаментом. Но взблеск золотой фигуры лисицы с двумя хвостами, красноречиво выпавшей из чемоданчика с проклятыми сокровищами посреди осеннего леса, — уже подбешивает. В особенности тем, что не сотрется, как будет торчать перед внутренним взором, к примеру, сцена побега одного из персонажей из Лисьих Бродов через мост.

Персонаж расплачивается за легкомысленное нарушение табу — пожизненным пленом в границах города. Наконец у него появляется надежда преодолеть запрет. Безоглядней, чем когда-либо раньше, он «ступил на мост» — «и мир изменился». Трудно сразу определить, насколько необходимо было разыгрывать сцену «морока» на мосту с такой степенью изменений. С засиявшим вдруг небосводом, который словно

срывает с себя «блеклое» небо реальности, как «повязку». С бамбуком, аутентично закачавшимся под ногами. С красавицами, зазывно стреляющими в читателя глазами цветов драгоценных камней и позволяющими любоваться собой так долго, что едва не пропускаешь выполняемый ими молниеносный трюк картинного умерщвления. Каждая следующая красавица подпускает к себе ближе — и в шаге от свободы путь персонажу преграждает врагиня нагая.

В этой избыточной, кричащей сказочности нет нужды — но есть послание. Эпизод на мосту — своеобразный тизер всего романа, который над «блеклым» миром утверждает, как сияющий небосвод, сказочные порядки.

«Лисьи Броды» — роман-морок, нагнетающий дурные предчувствия о «проклятом городе», а на деле создающий убежище от всего, что грозит за его пределами. Логово хаоса, куда сбегаются все, кого пугает порядок вещей.

О «тонкой, легко рвущейся пленке социального» в романе написала критик Ольга Балла<sup>14</sup>. У меня вывод противоположный. Социальное — настоящий источник ужаса в романе, бесперебойный, незыблемый. Прорвать его, как «пленку», возможно именно в рамках сказочной аномалии.

Полюс «порядка» и представлен в романе социальным, стайным. «Стая» — это рота красноармейцев в городе, и зашифрованная структура «особистов», и банда «котов», и беглое сообщество староверов, и тайное племя лис-оборотней, и собственно стая — бродячих псов, и обреченная группка сбежавших из японской лаборатории зверолоудей, зараженных препаратом, который запускает в них «метаморфоз» и превращает в настоящую звериную стаю. Пожалуй, только о последней вариации «стай» роман повествует сочувственно. Видимо, потому, что эти недооборотни — красная тряпка для «стай» как чисто человеческих, так и чисто звериных. Они жертвы лаборатории, где тоже до поры, несмотря на дикие эксперименты, правит «логика вещей».

То, что любое организованное людское сообщество легко проявляет порядки — повадки — собачьей стаи, — говорит о еще одном измерении романа, уравнивающим сказочный напор. Это — ирония. Простая, бытовая, ехидная — например, когда «стукач замполит» принижен через взгляд уличной собаки, которая недоумеает, почему перед таким непредставительным «псом» в людской стае принимают «позу покорности». И — тонкая, сюжетостроительная, создающая структурно значимые перевертыши мотивов и отношений.

К примеру, центральный перевертыш «учитель — ученик». Полковник Аристов, менталист, путешествующий туда и обратно по чужим мыслям и снам, приграничью мертвых и предчувствиям будущего, ищет бывшего ученика и соратника Макса Кронина. На протяжении всего романа Аристов выглядит сверхжваком и мнит себя организатором событий. В начале повествования он Макса Кронина прогоняет: «оскопляет», «лишает чуда», заставляя забыть о сверхспособностях, запирая его сознание в реальном мире без мистики. Однако стоит Аристову подступиться к ученику ближе: вторгнуться в сны, воспоминания, чтобы напомнить о давней связи и как бы невзначай выяснить, где сейчас Макс, — как тот атакует: оружием сна, но пробивающим Аристова до реального, телесного измерения. Постепенно до читателя, который захочет не просто наслаждаться «аттракционом»<sup>15</sup>, а постичь ту самую «внутреннюю логику», в которой критика роману отказывает потому, что автор не там и не тогда разместила урановый рудник, откуда сбегает Макс Кронин<sup>16</sup>, — в общем, до читателя начинает доходить, что это ученик изгнал учителя. Разуверился, оттолкнул, перерос. Макс Кронин — настоящий организатор событий, потому что он в них вмешивается и исход меняет. Аристов же только подбирает за Крониним крохи — в том числе, к примеру, совершает одно из вершинных открытий благодаря убогости слуги, которого ранее так «непрофессионально» — «недопустимо» для ученика менталиста — оставил в живых и отпустил Макс Кронин.

Оборотничество — сюжетобразующий мотив романа — тоже пронизано иронией. Опять же и простой, трюкаческой — недаром Макс, потеряв память менталиста, помнит себя «артистом цирка» и в Лисьи Броды въезжает как артист: исполнять в местной роте красноармейцев роль убитого им по пути «особиста» Шутова. Фамилия «особиста» значима, как выпавшая на палую листву золотая лиса с двумя хвостами: секретное погоняло Шутова — «Клоун» — переодетый им бывший циркач воспринимает как подмигивание судьбы. Но куда значительней перевертыш иронический. Шутов послан расследовать темное дело — исчезновение капитана, как-то связанное с не вполне успешным штурмом японской лаборатории, — и красноармейцы его боятся. Тогда как Макс под личиной Шутова чувствует себя без пяти минут добычей обещанного ему в подмогу отряда СМЕРШ.

Перевертыш силы и слабости — не просто клоунский трюк. Это принципиально повторяющийся в романе акт развенчания силы. Тут — цель восстания «логики хаоса» против «логики вещей». Ведь по «логике вещей» сильный побеждает слабого, обратное возможно в сказке. В том, как вершится эта сказочная, компенсаторная справедливость, чувствуется авторская пристрастность. Роман оттаптывается на сильных: каждого из персонажей, кто мнит себя власть и право имеющим, он обсмеет, разжалует, сотрет. Читатель может быть уверенным, что всякое насилие тут будет поименно, точно отомщено.

Отвращение к силе, которая прет, потому что может, рождает в романе отторжение от социального: стаи, порядка, иерархии, системы. Самоутверждение сильного — главный кошмар «Лисьих Бродов». И одновременно — источник иронии: не сотрясающего живот, тихого и злого смеха. «Просто это вообще не смех», — как объясняет героиня-оборотень свое звериное хихиканье в ответ на обиду. «Лисица издает такие звуки, когда чувствует угрозу. Она так защищается».

Изысканный Аристов, который проверяет прицел пистолетов на живом слуге, полностью подчиненном его воле менталиста, в идейном поле романа унижительно рифмуется с уличным псом, который ходит «брат» старую больную суку, потому что «она была слабой и за нее некому было вступить». А менталист-самоучка Юнгер — соперник Аристова и Кронина — унижительно прозрачен для тех, кого пытается подчинить своей воле: слуги-оборотня и древних лисиц, — и жалок в глазах читателя, раньше него понявшего, что Юнгер прошляпил и главную лисицу, и волшебную армию, и свой уникальный препарат, который собирался выменять на бесценный эликсир вечной жизни.

Унижение — главный страх сильных, потому что означает добровольную утрату места в иерархии. Но именно путем унижения, понижения в иерархии, отказа от силы, риска собой, самопожертвования идут в романе герои, которых можно причислить к полюсу человечности. Добираясь до метафизических оснований романа, Ольга Балла пронизательно замечает, что мир «Лисьих Бродов» «обезглавлен с обеих сторон, и «светлой» и «темной»»: не чувствуется, мол, в нем, несмотря на священника и староверов среди персонажей, присутствия «Христа и хоть кого-нибудь из христианских персонажей и сил, включая Бога Отца», равно как и «противник его тоже не представлен — упоминается христианкой-староверкой как привычная ей фигура миропонимания, но среди действующих сил его нет». Но я бы снова поспорила с «впечатлением» Балла, что «темная» сторона «в романе выражена существенно сильнее». Потому что за «светлую» сторону играет сама структура романа. Выдвигающая в победители тех, чьи поступки соотносятся с ценностями христианскими: милосердием, смирением, бескорыстием, самоотречением, любовью. В то же время жесткой иронией просвечен образ староверки, которая испускает ненависть под видом молитвы и, проклиная «бесовку» — женщину-лисицу, — напрасно возлагает на нее всю ответственность за свой разлад с мужем. Ощетинившаяся против «бесовки» толпа староверов названа «ненасытившейся, униженной хищной стаей». А дети староверов,

изводящие девочку — дочь женщины-лисицы, — проявляют худшие стайные инстинкты. Христианского сообщества, христианской церкви в романе нет как явления, но это в структуре «Лисьих Бродов» выпад не против веры — а против системы.

Одиночки — главные герои романа. Одиночка перед стаей — носитель «логики хаоса». Одиночке выиграть — пойти против «логики вещей». Полковника Аристов и циркача и беглого зэка Кронина, единственного священника и единственного доктора, медсестру-медиума и кицунэ-«полукровку», лисицу-«отступницу» и раскаявшегося ученого японской лаборатории, безумного Юнгера и его слугу-тигра Ламу, охотника-старовера и китайца папашу Бо, угощающего красноармейцев настоянной на змее водкой, — этих персонажей объединяет стремление навязать системе свой интерес, переломить или проломить ход вещей, который принят как общий и естественный.

В этом смысле сам роман уподобляется своим героям, выстраивая маршруты мимо исторических магистралей тридцатых — сороковых годов прошлого века. «Истории, в которой все это происходит, которая все это объемлет и, по идее, определяет, — почти нет», — замечает Ольга Балла, безоценочно на фоне рецензентов, нацелившихся из романа исторических неточностей. В жизненном выборе героев — например, майора Бойко, капитана Деева, ученого Оямы, медсестры, Юнгера — большая история сказывается. Другое дело, что само отдаление революции и мировой войны на кромку повествования, выдвигающего в центр 1945 года маргинальные поиски в душном городке, выглядит сказочной условностью, нарушением «логики вещей». И — утверждением «внутренней логики» романа, в котором ошибка с размещением уранового рудника не принципиальна потому, что весь он посвящен отсевкам большой истории, осевшим, как сор в сите, в сказочной, отключенной от широкого мира аномалии Лисьих Бродов.

Одиночность — условие игры, а не ее цель. И тут я снова вижу перевертыш верхнего и глубокого слоев романа. Несомненно, Анне Старобинец удался впечатляющий писательский трюк: множество линий героев, отмеченных разнообразными мотивами, она так или иначе замыкает на одной фигуре — таинственного мастера Чжао, даоса с бессметностью лиц, оберегающего святилище с кладом и владеющего ключом к бессмертию. Но прежде чем тоже упереться в этот легендарный образ, хочется отмотать назад и проверить: так ли уж разнятся интересы героев?

Аристов ищет Кронина, Кронин — жену Елену, сбежавшую с братом в эмиграцию, но оставившую след в Лисьих Бродах. Брат Елены жаждет оживить волшебную армию, «глиняное войско» — Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди, подлинное захоронение которой роман предлагает искать за болотами Лисьих Бродов. А для этого Юнгера нужен секрет бессмертия от неуловимого даоса. Слуга Юнгера, человек-тигр Лама, предан Юнгера в меру своего интереса: когда-то даос недооценил преданность Ламы, прогнал от себя, и Лама жаждет его найти, чтобы заставить переменить решение. «Стукач замполит» мечтает об амбициозном разоблачении контры внутри армии, а его командир, майор Бойко, напротив, ищет способа избежать разоблачения. Медсестра хочет укрыть в городе отца, с которым сама когда-то порвала, а доктор — из города скрыться. Кицунэ-«полукровка» ищет снадобье, созданное на пересечении магии и науки, которое поможет ее дочери пережить первый «метаморфоз», а сама девочка хочет удержать дружбу мальчика из враждебной семьи староверов.

То, что эти и прочие пестрые, разбегающиеся интересы в итоге сойдутся на тайне даоса, кажется литературным чудом. Но герои жаждут чуда иного.

С образом оборотней в роман влетает мотив утраты души: «Плоть оборотня сильна <...>. Но душа оборотня всякий раз тоскует». Оборотничество описано в романе как мука повторяющегося прохождения через смерть, распад и возрождение. «...Сделана впечатляющая попытка показать сознание оборотня его собственными глазами — притом с почти научной (если бы такое поддавалось научному наблюдению)

точностью (вплоть до времени, которое занимает переход, до изменений в крови у переходящего...)», — отмечает это особенное достижение романа Ольга Балла. И именно на фоне физиологического обоснования «перехода» обостряется вопрос: что в этом «почти научно» описанном опыте переживает душа?

«Душа» — слово-призвук Ламы, куда более тигра, чем человека, и потому особенно разрываемого между силой тела и тоской души. Он ищет даоса, чтобы доказать ему свою силу, но сам же ее придерживает — ради «дуновения» души, которое чувствует рядом с медсестрой-медиумом. Интересно, что она доверяется тигру Ламе вроде бы по наущению отца — но в каком-то смысле этого требует ее душа, уставшая сопротивляться «плохим» мыслям и видениям. Так и Макс Кронин сбегает из лагеря за женой Еленой, которую теперь, многое забыв, знает не лучше, чем медсестра — Ламу: он ищет не жену, а то, что ему кажется обещанным в образе жены, — свою душу. И «счастье», которое испытывает «стукач замполит», когда просекший его происки армейский товарищ наконец признает его место в иерархии роты и предлагает ему «вместе» разоблачить переодетого Кронина, — разве о карьере, а не о душе? Да и Аристов, предавший доверие ученика, кажется, душевно им тронут: «непрофессионально» обижается на непослушание Кронина и почти отечески любит его тем, как, даже «оскопленный», «великолепен» «его» Макс. Или посмотрите, как счастливо идет, «наслаждаясь каждым вдохом и каждым шагом», по колдовскому мосту тот, кто думает, что наконец сбежит из «морока» города, как из плена.

Вернуть душу — значит словно бы ожить. Не пустое слово в романе, где каждый из героев проходит свои стадии распада и «Черноты. Пустоты. Ничто», неизбежные при оборотничестве. Оборотень, проходя через распад, покидает одно тело, чтобы воплотиться в другое. А тот, кто не перевоплощается, покидает себя.

«Это ты оборотень», «перевертыш тут только один <...>. Это ты...», «это вы утратили человеческий облик», — выговаривает Кронин оппонентам. Но и без этих подсказок легко заметить, что зверюлюди и древние лисицы — вовсе не те, на ком в романе держится мотив оборотничества. Человек-тигр, кицунэ-«полукровка» просто следуют своей природе. «Я не хочу тебе зла. Но это моя природа», — говорит «полукровка». А вот обозлившийся майор, отчаявшийся доктор, перепуганная медсестра, взбесившаяся от ревности староверка природу свою — меняют, предают. Для таких персонажей характерно отчуждение от «оборотной» ипостаси: «я не такой», «я не воровка». И тигр, нацеленно убивающий в себе человека, в этом как раз уподобляется людям, стирающим из реальности себя прежних.

Зато образы зверюлюдей, выведенных в лаборатории, — вообще не про оборотничество. Это скорее про границы человеческого и страх перед «чужими». Новые звериные повадки неприродных оборотней страшны именно в свете осознания их еще человеческим умом. Напротив, «душа зверя» в них принимает даже убийственные порывы спокойно, уверенно. Это — новая подсветка темы силы в романе: зверю естественно хотеть зарезать ребенка, как «свинку», но когда тем же чувством распялится человек — он пострашнее недооборотня.

И именно человеческая память определяет в романе путь недооборотня. Простодушный Никитка-«солдат» парадоксально верен себе в переходном состоянии: говорит, что «просто теперь он за другую стаю воюет», и, действительно, сохраняет своеобразную способность к рассуждению, состраданию, волевому выбору. А попавшегося в лабораторию старовера «переход» ломает, стирая в нем все, кроме суеверного страха. Он видит в постигшей его судьбе — отвержение Бога, которого, как думает, прогневал. И путается в верованиях, и тщится занять место пророка при новом своем божестве-оборотне, и едва не приносит ему человеческую жертву.

Судьба старовера воспринимается трагичней, потому что его «переход» — это прыжок в отрицаемое: герой оказывается на стороне тех, кого в его среде принято проклинать, — преследуемый теми, с кем у него изначально общие ценности.

Перевертыш «свой — чужой» расширяет для читателя поле сочувствия, а также спасает роман от жесткого разграничения героев симпатичных и «плохих».

Так, «стукач замполит» ни в коей мере не оправдан в романе — но и ему достается почтительная доля читательского сочувствия в последний момент, в сцене, где его буквально заколачивает в гроб, «так сказать» — словечко замполита, — боевой товарищ. Товарищ куда более близок и симпатичен нам своими поступками и мотивами, но вдруг что-то перещелкивает, и мы видим его хищным оборотнем-насекомым: «В напряженных его губах зажаты тонкие гвозди», отчего он «похож на насекомое с множеством хоботков. Он вытягивает изо рта эти хоботки и один за другим вонзает их в крышку твоего гроба».

Еще один яркий прием, расшатывающий предопределенность сочувствия, — беглая точка восприятия. Мы видели стукача отстраненно — и вот уже обращаемся к нему на «ты», проговаривая для него то, что он не может в кульминационной для себя сцене понять и увидеть: «Ты под крышкой, ты накрыт с головой брезентом, и ты не видишь...» Теперь со стороны, отчужденно, мы смотрим на того, кто его одолел. И вдруг словно прыгаем победителю за плечо, сливаясь с ним, настраиваясь и на его логику поступка: «Он не убийца. <...> Он убивает. Только. Врагов. На каждый гвоздь — три удара молотка. Только мразей. Стукачей. И подонков».

Вариация этого приема — перевертыш «живого — мертвого»: к Макс Кронину являются «его» покойники, те, в чьей смерти он повинен, и один из них, дружелюбно настроенный вор, становится другим голосом Кронина, спорящего с самим собой, стоит ли с риском для жизни задерживаться в Лисьих Бродах.

Очень хочется в заключение поговорить о нем — о супермене Максе Кронине, который замечателен не только меткостью и изворотливостью, но и постепенно крепнущей уверенностью в своих чувствах и ценностях. Его путь можно прочесть как историю сепарации. К моменту, когда он вспомнит о своих сверхвозможностях, они перестанут интересовать его, как детская игра. Макс Кронин идет к Елене — так он думает, — но приходит от старого учения к новому, от хорошо дрессированного себя к себе настоящему. Отказ от оборотничества — революционный выбор для «артиста», но прежде, чем выбор будет сознательно сделан, Макс Кронин попросту не сможет поступиться чем-то в себе ради шкуры, в которую переоделся. «Он понуро идет с тобой, уверенный, что это арест, а может, что и похуже, ведь он поднял руку на капитана СМЕРШ Шутова. И ты должен его хотя бы ударить — по лицу, прикладом, до крови. И ты должен его хотя бы посадить на гауптвахту. Ты ведь Шутов. Ты капитан СМЕРШ. Ты должен играть свою роль. Но ты смотришь в эти его незабудковые глаза, и ты вдруг говоришь:

— Спасибо, Пашка. Ты вчера все правильно сделал».

Но еще интереснее поговорить о менее очевидном — и до поры вовсе невидимом — персонаже. Мастер Чжао, человек — «бескрайнее озеро», попрекающий ученика Ламу за то, что рука того не дрогнула убить бабочку, — как получилось, что этот просветленный человек обрек на смерть детей? За то, что одна из древних сестер-лисиц нарушила тайну святилища, он проклял «лисят». Растущая луна грозит Лисьим Бродом нашествием зверолодей, а кицунэ-«полукровке» надрывает сердце: близится ночь первого перевоплощения ее дочери, и, по слову даоса, девочка «перехода» не переживет. «Моей дочери грозит беда страшнее, чем СМЕРШ», — так объясняется бесстрашие «полукровки» перед стаями: красноармейцев, старозеров и даже древних лисиц.

Мне жаль, что Макс Кронин к проклятью даоса отнесся не критично — а точнее, никак. Он неоднократно выручает обреченную девочку — но того, что неотвратимо ее убивает, не видит в упор. Объяснить это можно тем, что героя отключили от мистического измерения — «лишили чуда». Как и тем, что даос в романе оправдан законом, который он вроде как исполняет, проклиная нарушительницу табу.



И все же для романа, отвращающего от немилосердной силы, почитание воли могущественного даоса, не осложненное сомнением, — куда более серьезный недосмотр, нежели перемещенный урановый рудник.

К роману «Лисьи Броды» просится применить классификацию мировоззрений персонажей из игры Dungeons & Dragons. По свидетельству интернета классификация эта основана на литературном источнике и представляет собой перебор сочетаний «добрых» и «злых» намерений с почитанием «закона» или «хаоса». Предполагаю, согласно этой классификации Макса Кронина можно определить как «хаотично-доброе», а даоса — как доброго силой закона. Не раскрывая главного трюка романа, скажу, что в Лисьих Бродах этим противоположным философиям добра не хватило места.

«Логику хаоса» воспев, роман Анны Старобинец избегает амбивалентности. И можно спорить, победил в финале хаос — или на смену ему, силой природной цикличности, в Лисьи Броды вступил новый лик порядка.

### *Пестушки кошмара*

**Саша НИКОЛАЕНКО. Муравьиный бог: реквием. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022.**

Удобно, когда в романе есть заглавная сцена, иллюстрирующая как будто очевидную авторскую идею. «Над Моровом, в сети теней скользящих, стоял убийца. Муравьиный бог». В этой визитной карточке романа прописано все. Аллегория муравьиного копошения человеческой жизни — и необъяснимая угроза, которая может ее разметать. Беззащитность малого перед большим — и непостижимость большого с точки зрения малого. Зрящее страдание — и вышедшая из берегов злоба. И все так ясно, что непонятно: куда теперь двигаться роману? Восемилетний мальчик Петруша уже пожег муравейник, сыграв в злого бога, который и с ним самим поступил так: разметал его жизнь, забрав маму и папу — и оставив избывать сиротское горе подле нелюбимой бабушки. А у читателя впереди еще четыре десятка страниц, которые чем же автор наполнит?

Кульминационная по звучанию и наполнению сцена, отыгранная в самом начале, ломает структуру истории. Перед нами роман, который не ставит себе задачи рассказывать. Его структура — воронка. Роман не развивается, а кружит. С каждым новым витком мы согласнее предаемся и ритму его, и логике. И когда подступит настоящая кульминация, мы будем готовы воспринять ее не критически. Добить сиротку, повесив на него вину в случайной смерти девочки от нездорового щенка, которого герой достал к финалу не роялем из куста — билетом лотерейным, когда-то так же в детской невинности недалёковидной испрошенным у жизни и случайно тоже выигравшим смерть: для мамы с папой смерть в автомобиле, которым оделит их лотерея, укрыв, что за прибыль после требует судьба, — повернуть такое в линейно устроенном романе значило бы свести его к автопародии. Не говоря о том, что смерть от проклятого лотерейного билета, содержавшего выигрыш в виде рокового автомобиля, на котором разбились родители Петруши, сносит и завязку романа в сторону городских страшилок. Но в торжественную поступь «Муравьиного бога» смеху не всунуться. Хотя в смачной речи нелюбимой бабушки достало бы острословия, чтобы разрядить атмосферу, — в задачи романа ослабление угрозы, переключение тона не входит. Когда старуха Снаткина в романе Эдуарда Веркина сетует на горемаслозаводчика: «Только коров-то не осталось! Молока нет, хоть сам доись», — я могу хихикать над ее выпадами вместе с героями, потому что осмеяние — язык романа. Когда старуха Вера сетует на тупой нож, возражая внуку Петруше, который «вчера

его точил»: «Вчера и режь... и ешь тада вчера, точил ты...» — в шекспировской ловкости ее реплики нет комедийной легкости. Это не остроловие — а заострение утраты: «Тупой... совсем тупой, не режить, кому теперь точать? Ни мужика, ни сына». Смех сифонил бы свободой: возможностью выступить из отчаяния, взглянуть на ситуацию иначе, найти лазейку утешения.

Но так уже был написан Сашей Николаенко другой роман — половинно: голос горевания и бунта в равноправии с голосом умиротворения. «Небесный почтальон Федя Булкин» критикой был принят скептически. Можно посетовать, что такова участь «добрых книг»<sup>17</sup>, вызывающих у искушенного читателя образ «сахарной глазури» (Мария Лебедева —<sup>18</sup>). Можно подосадовать, что «именно эта темная сторона принесет Николаенко победу» (Наталья Ломыкина —<sup>18</sup>). В речи лауреата на церемонии вручения премии «Ясная поляна» Саша Николаенко призналась, что, возможно, негатив, обрушенный на ее роман о Феде Булкине, трансформировался в отрицательное обаяние романа «Муравьиный бог»: «Было очень много зла почему-то в адрес именно Феде Булкина, “небесного почтальона”. От многих критиков я услышала очень много зла в адрес этого мальчика. Может быть, это зло во мне нашло протест» (расшифровано с видеозаписи в мобильном телефоне от 4.10.2023). В рецензиях пишут о явной зеркальности двух романов — и автор поддерживает такую интерпретацию: «Я хочу, чтобы люди, прочитав “Муравьиного бога”, сказали — нет, мы так не хотим... мы не будем так жить... Не станем превращать жизнь любимых в ад. Я хочу, чтобы, прочитав “МБ”, люди повернулись к Небесному почтальону Феде Булкину... И тогда, если только сравнить две эти книги — выбор станет очевиден... Спасение только в любви друг к другу»<sup>19</sup>.

Проблема в том, что любовью не строится роман. «Небесный почтальон Федя Булкин» тоже ломал линейную логику истории. Это роман-диалог, где бабушка и внук взаимодействуют не соприкасаясь. В своем отзыве я сравнила их с «двумя фигурками в народной деревянной игрушке», предложив читать книгу как «сказку — запертую в условиях реальности»<sup>20</sup>. Сказка без сказочного пути героя, диалог без конфликта. Эта невозможность развития, закупоренность действия оказались уязвимой — неуверительной чертой романа. Как и неотчетливость заглавного героя. Здорово, что в критике роман помнят «теплым и солнечным»<sup>21</sup> и противопоставляют «мечтательному и любознательному Феде угрюмого, независимого и жесткого Петрушу»<sup>22</sup>. Но это еще раз доказывает только то, что в критике эпитеты — тоже черта уязвимая и наименее убедительная. Мне, к примеру, Федя Булкин показался фигурой аллегорической: он не ребенок, а человек как ребенок — взывающий о несправедливости утраты к «большой» фигуре бога. Персонажи романа светлые, потому что горюют в согласии, разделяя друг с другом гнет утраты. Однако сам роман показался мне «заряженным недоброй и тяжелой мыслью, как и предыдущий роман Николаенко “Убить Бобрыкина”»<sup>23</sup>.

Зеркальная пара романов, таким образом, тоже иллюзия. Такая же, как кульминационность сцены с «муравьиным богом» Петрушей. Так удобно воспринимать и трактовать. Но «Муравьиный бог» работает не в паре.

Я бы воздержалась от оценки «Муравьиного бога» как именно «лучшей книги Саши»<sup>24</sup>. Куда убедительней принесший ей первый успех «Убить Бобрыкина». Он гармоничнее, тоньше, хитрее: в нем есть полифония голосов, двоящееся восприятие, протяженная интрига с впечатляющей развязкой, преображающей драму в трагедию. Но то, что делает его «лучшим» романом, как раз и мешает ему стать вершинной книгой автора.

Николаенко словно бы искала способ высказаться художественно — но прямо.

В «Муравьином боге» сохраняется равновесность фигур бабушки и внука — теперь они уравниваются взаимным неприятием. Их конфликт не отвлеченный, не в рамках диспута. Напротив, диалоги затухают, разбередив раны и открывая поле

для мести. Внук гасит бабушкину лампадку — она закрывает собой свет, под которым он читает книгу, начатую еще с папой. Внук просится к соседской девочке Саше — бабушка не пускает, потому что с Сашей за внимание внука соперничает: пока не погибли, она так же ревновала сына к невестке и до сих пор ревнует мужа, лежачего больного, к соседке-разлучнице. Главное же — она соперничает с внуком за право горевать, и тут ему тоже есть чем симметрично ответить. Если Федя Булкин и его бабушка спасаются в горечи утраты друг другом, то Петруша и бабушка Вера один другого променяли бы на погибших родных. Когда бесчувственную Веру внесли в дом, где идут поминки по ее сыну и невестке, Петруша думает, что «баба умерла, не нужно будет ехать с ней на дачу». И баба Вера, не то взаправду вспоминая, не то путая сон и явь, признается, что однажды чуть не задушила младенца Петрушу: «...Только знаю, так и будить, как в этом сне, погубишь всех. Ни Маши, ни Ивана, ни-ко-го... <...> Подушку подняла, пусть грех-то, думаю, на мне, они других вырождать, только б жили... Не успела».

Конфликт получился тяжелым, тугим, действенным: герои желали бы вытеснить один другого — но обречены друг от друга зависеть. И спор их только формально о прошлом: погибли родители Пети от несчастного случая или злой волей — Пети ли, выпросившего проклятый билет с роковым выигрышем, или немилосердного бога, который «нас всех убьет». На деле они спорят о том, что дальше, после утраты: есть ли за роковой чертой жизнь?

Парадоксально — и очень в духе романа — спор о жизни воплощается в борьбе за смерть. В отличие от обоих героев, замороженных, замороженных страхом смерти, обездвиженный дед, муж Веры, принял бы смерть «благодарно»: автор находчиво позволяет деду высказаться об этом открыто, оставаясь в рамках обреченной безответности больного, — и, чтобы мы не сомневались, показывает светлый сон Петруши о дедушке, освобожденном от уз плоти. Петруша поддерживает деда и обращается с ним как с полноценным членом семьи: например, прибегает к его беспомощной защите, когда совсем страшно и невмоготу с бабушкой. В его глазах дед живой человек, у которого осталось пространство выбора. Напротив, бабушка Вера недаром называет мужа покойником. Для нее муж кончился, переступив порог — в романе одновременно вещественный и символический: Вера считает, что муж пал, сраженный ее проклятием за измену, уход из семьи. Она делает вид, что боится за жизнь мужа, отбирая у него мяч для тренировки рук, который, по совету соседской девочки, принес Петруша. Но тут же разоблачает истинную причину гнева — месть: «А ты мячи ему давать, побаловать...» В критике ее сценичную реплику, обращенную к лежачему мужу: «Ни черту и ни богу не отдам, Данило, слышишь, слышал? Ни черту и ни богу. Никому», — интерпретировали как штрих неоднозначности. «И все же нет-нет, а прокрадется сочувствие, а то и чувство жалости к ней. Мужа своего <...> костерит, поминает грехи молодости и при этом делает все, чтобы продлить его жизнь»<sup>25</sup>. Но в романе между этими действиями нет противоречия: баба Вера не отпускает мужа именно потому, что костерит за грехи молодости. Ей важно удержать его при себе хоть «покойником», не дать снова переступить порог — хоть бы и смерти.

Детские черты проступают в образе деда: «сильными руками, мощными плечами легко ворочала в подстилах маленького высохшего деда», «детский запах реденьких волос». Идеальный муж — это идеальный сын, идеальный сын — младенец, который еще не женился и не спорит с матерью перед лицом собственного ребенка: в романе промельком даны несколько сценок, показывающих, что и с сыном, о котором сокрушается, баба Вера не жила в ладу, не находила понимания, что и сын противился ее картине мира. «Она вон говорит: “Сосиски — химия одна”, — а папа говорил: “Все — химия одна... круговорот, обмен веществ”. — “Ой, богу не боишься, Ваня...”»; «— Што плачишь, дето? Жизнь — могила. На небах тоже болько будить, милой, погоди. <...> — Мам, хватит, он ребенок, что ты...»

Фокус романа в том, что он подстраивает торжество картины мира, которой все сопротивляется — и в героях, и в читателе.

«Роман “Муравьиный бог: реквием” — о принятии неизбежности смерти. Своей смерти. Смерти близких. Прочсть, прожить, а тем более пережить и усвоить (выдержать смерть) эту новую книгу Саша Николаенко не просто», — пишет Татьяна Веретенова<sup>26</sup>.

К созвучному выводу приходит Екатерина Иванова: «“Муравьиный бог” — это не столько реквием, сколько гимн безысходности. Принять эту книгу как исповедь отчаявшегося сердца, как плод авторского личного опыта — нелегкое испытание для души»<sup>27</sup>.

Загвоздка — в словах «принятие», «принять». Кажется, вовсе не эту задачу ставит перед читателем автор.

В интервью Шевкету Кешфидинову она «костерит» то, что в «Муравьином боге» наглядно воплощено как идея земного бытия: «Система, созданная природой ли, Господом Богом ли, система, в которой мы живем, — не только мы, люди, но мы все, изначально немилосердна. Закон этой системы — эволюция и пищевая цепь. Это значит, что пожирание сильным слабого только исполнение этого закона. <...> И вот в этой системе (Богом или природой созданной), где все питаются всеми, “жук ел траву, жука клевала птица”, человеку приходит в голову мысль о жалости к младшим и ближним. Сильному приходит мысль: не убить. <...> Откуда вообще пришла такая мысль — мысль о жалости, сострадания?.. Она совершенно против правил всего, что нас окружает...»<sup>28</sup> А в речи лауреата прямо указывает, что лучшая реакция на ее награжденный роман — протест: «Но вот этот отклик самый главный — протест: бог не такой! Если у нас будет такой бог, то мы докатимся до того, что просто в конце концов истребим друг друга».

Мне не близки попытки автора докомментировать роман, тем более — превратить комментарий в проповедь: «Не может ли оказаться так, что, создавая нас, Он, как папа, который любит своих детей и верит в них, надеялся, что мы сможем изменить созданную им систему и созданный им закон? Кто написал такие заповеди, если сама божественная система против них? И как мог заповедовать нам Бог то, что противоречит тому, что Он создал?»<sup>29</sup>

Но мне кажется продуктивным это противоречие: между «бог не такой» — и «созданным им законом»; между, по слову критика, «принятием неизбежности смерти» — и, по слову автора, попыткой мир «изменить».

В этом противоречии — основа манипулятивности романа и одновременно его художественной удачи. «Но главный контраст — между искренностью и сделанностью. В книге есть и то и другое», — пишет Екатерина Иванова.

«Вера в смерть» побеждает в романе не потому, что ею захвачена героиня Вера (о неслучайности имени бабушки Екатерина Иванова говорит именно в свете «сделанности» романа). А потому, что ею заморожено воображение автора.

Раз от разу Николаенко рисует нам малого в сопротивлении большому, младшего во власти старшего, муравья под богом, раз от разу она показывает травму расставания с детством, его красотой и защищенностью. Ее герой — это малый, который осиротел до того, как стал большим. Человек, который не справляется с жизнью. Ребенок, которому не вместить утрату. Жизнь, которой невыносимо глядеть в лицо смерти.

По всей видимости, полифоничность и повествовательность только мешали автору выразиться. Удача «Муравьиного бога» — в его тотальной монологичности. Единство стиля тут соединяется с единственностью темы. «Музыкой на бумаге» называет свой стиль автор, говоря, что наконец осуществила это как «мечту»<sup>30</sup>. О ритмизованной прозе Николаенко спорили уже в связи с «Убить Бобрыкина» — и, может быть, потому и спорили, что там эта «музыка на бумаге» казалась декоративной. Ритм, повторы, поэтические стыки низменного и возвышенного, повествовательного и лиричного звучали то болезненно, то полонезно. Стиль спорил сам с собою, находясь то в угрюмом настоящем, то в идеальном, не существующем прошлом. В «Муравьином боге» нет вариативности, как нет лазейки из не отпускающей «веры

в смерть». Бытовые реплики бабушки, дачные игры детей, деревенские слухи, воспоминания и сны, живопись природы и призраки сознания неотступно ведут читателя к чувству незащитности перед общей судьбой вещей: поедать и быть съеденными, уничтожать и исчезать, терять и быть потерянным для всего, что дорого.

Мы погружаемся в личный кошмар — который в романе подается всесветным. «Нас настойчиво подводят к выводу»<sup>31</sup>.

В романе нет фантастической условности, а все же нельзя сказать, что он вполне удерживается в реальном. Ближе к финалу все чаще вместо событий — сны. Но и с самого начала туг оживают, развертываясь силой метафоры, фантастические твари.

«...И, напрягая черные волокна, подземный спрут, жить тех времен и лет, что обратились в прах, страны, в какой скелеты мертвецов, сороконожками ожив, корнями пробегают, черпал энергию подсолнечной травы»; «Гнилой забор под натиском курганных траволесий валился в огороды и сады, как будто правда мертвецы к живым шагали в гости напролом»; «Жизнь идет, и старый дом скрипит, как будто из последних сил невидимая упряжь-память кибитку с мертвецами и живыми тянет на погост»; «По потолку скользили тени. <...> Освобожденные от тления седые призраки животных и людей, деревьев, облаков... почти они, но бестелесны. Ни воздуха, ни крови, ни воды, ни боли-радости-надежд, ни цели, но только это серое движенье: с угла к углу, с угла к углу, с угла к углу, как будто бы оно и есть их цель — как стук покойника в гробу — освобождение от бессмертья»; «Огромная старуха, волк в овчине, как будто срубленную голову, шинкует крепенький кочан: ширк-ширк. Вот, рос себе, все лето креп в своих одежках, теперь порубят и схрустят: ширк-ширк. Умело ходит нож, стучит в доску. Царапиной невидимого звука кружит по вечеру комар, удар по дряблему плечу — убила. Убила раз. Убила два. Убила три».

Внешнему копошению старухи Веры: тщета ее скудноплодных трудов по дому и саду — еще один вариант обреченности смерти, — сопоставлена просторная жизнь мысли и воображения Петруши. В романе хлопочущая Вера — «она», а мыслящий Петруша — «ты». Так сжимается контакт, и мы незаметно для себя ныряем в рефлексию-игру героя в «быть — не быть»: «Где шаг, какой шагнул? Где тот, какой еще не сделал? <...> Неудержимое, поющее, скребущее, ползущее движенье, всегда вперед, согласно стрелке часовой. <...> Еще шагнул — и снова оглянулся. Запомнил — здесь; шагнул — и нет, исчез. Нет, не исчез — переместился. Как будто тень съедает “был”, а свет съедает “буду”, и только на пересечении их еще стоишь ступенькой, не переходя невидимую грань, исчезнув позади, не появившись впереди, из ничего и в ничего одна секунда — есть».

В фантастическом измерении растет и образ старухи Веры. В снах-воспоминаниях Петруши узнаваемая речь ее — это голос «темноты», «черного пятна». Голос пугает смертностью, подобно самой темноте, которая в реальном плане романа активно действует и немо, но постоянно, в цикле сменяемых летних дней, говорит с героем. Страх темноты в романе — детская форма страха смерти.

В широком времени, в большом мире не получилось бы выдать невроз старухи, кормящей внука под прищепывания об Апокалипсисе, за природу бога, а детский страх темноты — за закон природы. Но Николаенко являет «деланность» — искусную искусственность пространства и времени, которое кажется слепком мироздания, от «пылинок»-«невидимок» до «звезд», а на деле ограничивает нас кошмаром «в голове».

Символично, что в финале этого дачного, летнего романа наступает сентябрь — в который у героев нет сил вступить. Надо ехать в Москву, вынимать себя в будущее, а герои не едут, и будущее их на исходе. Слова «часы идут», «вперед» — звоночки кошмара: Петруша ищет способ время отменить, переиграть прошлое. Только могилу, тщету, забвение видит как итог линейного времени и его бабушка. Но и круговое, цикличное время не спасает, ведь это кругооборот изничтожения: существа «выклеивают жизнь себе из жизней», «все ело все».

При чем же тут Бог? Хоть «не такой», хоть такой? Разве не очевидно, что, когда Петруша объявляет бабушке, что его родителей «бог твой <...> убил. Он, баб, нас всех

убьет», — он борется не с богом, а с бабушкой? И кто она — эта бабушка, о которой сказано, что она «страшнее смерти», — и в этом смысле для Петруши равна богу, который в ее устах «страшнее был, чем темнота, чем чернота, разбойник, аспид, детский дом, милиция, аука. Чем все, что страшно, все, что есть и нет, чем смерть, и после смерти мучил человека, судил, варил в котлах, “кожми сымал”, и жарил, и пытал»?

«Доминанту бабушки Веры» признает в романе критик Татьяна Веретенова<sup>32</sup>. Идейно Вера подавляет и передавливает — но как образ отдалена, недораскрыта. В редкие, ничем не мотивированные, но украшающие роман моменты «объективного» зрения, когда мы видим героев не горизонтальным, человеческим зрением, а как бы сверху, взглядом птицы, художника, бога, Вера остается в неизменной личине «ведьмы», которой перемена ракурса не добавляет обаяния, а вот Петруша показан трогательно: «...Вдвоем на лавочке сидят огромная угрюмая старуха с тяжелым, никогда не ласковым лицом, в вороною повязанном платке и черном крепе, с кульком от “Правды” в молоте скрещенных рук, и мальчик лет восьми, худой, зеленоглазый, в потертой синенькой ветровке, с давно не стриженной русоволосой головой, в штанишках клетчатых, подвернутых на вырост, с прилипшей огуречной семечкой к щеке». И о том, что значило для Петруши потерять родителей, мы узнаем из ряда задевающих за живое сцен-воспоминаний. Но о том, что значило для Веры потерять сына, можем только строить предположения. Тем более что видим, до чего с Петрушей она неловка, будто и сына никогда не нянчила: совсем не понимает и не принимает в нем ребенка. Подозревает, что Петруша уже забыл погибших родителей, а много раньше, впервые взяв внука на руки, смущается и обижается, что он криком просится обратно к маме.

Автор приглашает сопереживать старухе Вере: «...Тот, кто нашел в своем сердце жалость для нее, — мой друг, он понял меня, потому что я люблю ее, и мне ее тоже жалко. Жалко до боли»<sup>33</sup>. С другой стороны, о матери, орущей на ребенка, она высказывается безжалостно: «Я смотрела на маму, которая криком кричала на своего малыша и волоком волокла его по дороге... Кто ты такая? Ты любое, любая, но ты не мать. Ты даже хуже животного»<sup>34</sup>, — а между тем баба Вера как взрослый, воспитывающий ребенка, совершает насилие над его душой не вот так, срываясь по дороге, а систематически и осознанно, и в романе единственное, что помогает как-то понять ее, — это промельки упоминаний о перенесенном в детстве голоде, тяжелой болезни матери, не мирной гибели Вериних родных.

Романы, предлагаемые к прочтению в паре: книга о Феде против книги о Петруше, — подсвечивают принципиальное свойство мира Николаенко. Именно оно включает на месте драмы — ужас, делает ситуацию ее героев безвыходной. Доброе и злое воплощено здесь абсолютно: чтобы отобразить правду жизни, в этой прозе нужно столкнуть два полюса, подобно тому как для полноты понимания мысли автора предлагается прочесть оба романа.

Добро — полюс идеального, настолько, что закрыто для доступа, существует в воспоминаниях, воображении, снах, письмах. В «Муравьином боге» идеальны родители: папа, с которым не страшно плыть, летать, прыгать, «сокращать жизнь», и мама с ее прохладной ладонью, всегда ласковым, ровным, будто потусторонним, зовом. В «Убить Бобрыкина» полюс идеального воплощен в подруге детства. Родители погибли, подруга переродилась во взрослую женщину. Вместе с ними герой утратил возможность теплого контакта. К памяти о подруге герой «Убить Бобрыкина» привязан, как к матери, потому что настоящая мать давит и осуждает то, что ему дорого. А бабушка в «Муравьином боге» — зеркально опрокинутый образец, по которому каждый взрослый легко усвоит, как оборвать доверие даже очень голодного по любви ребенка.

Психологические портреты токсичного контроля и травматичной зависимости в прозе Николаенко необыкновенно последовательны и точны. Но именно это придает им условность. На месте взрослости, в которой всякое бывает, — провал,

загробье. Читатель принужден надирать душу состраданием малому или ужасаться домашнему аду, творимому большим.

Вот почему пожалеть старуху Веру в «Муравьином боге» можно, но только по внетекстовым соображениям. «Он для того нарочито светлый, что этот нарочито темный», — говорит Наталья Ломыкина, сопоставляя роман про Федю и роман про Петрушу<sup>35</sup>. Но и старуха Вера нарочито темная потому, что родители героя идеально светлы. Картина мира, соответствующая зрению ребенка, который не может поверить, что это его родитель ругается и проявляет слабость: не совмещает в одной фигуре добро и зло. И сочувствие в прозе Николаенко целиком на стороне того, кто мал и зависим, потому что старший не имеет права на ошибку. Мы не можем понять, как сложилась у бабушки Петруши болезненная «вера в смерть», как не поймем, почему бабушка Феди сохранила в себе веру в свет. Они остаются абсолютными моделями, выпадающими из сочувствия потому, что лишены человеческой сложности.

Есть и еще вариант трактовки от автора: «Кто это чудовище, эта старуха, что превращает сад в ад, а жизнь своих любимых в клетку? — Я или, скажем так, мои опасения стать такой, как она»<sup>36</sup>.

Человек в романе «Муравьиный бог» выясняет отношения с собой, думая, что — с богом.

«...И все молюсь, молюсь... спаси и сохрани помилуй, Зина... а кому?»

До первоисточника «несправедливо устроенной жизни» (Наталья Ломыкина — <sup>37</sup>) роман не добирается. Зато показывает, какими бываем мы, когда мстим жизни за ее несправедливость.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

<sup>1</sup> Эдуард Веркин: «Большие книги снова входят в моду». Беседу ведет Клариса Пульсон. // «Годлитературы.рф» от 5.10.2022. <https://godliterature.ru/articles/2022/10/05/eduard-verkin-bolshie-knigi-snova-vhodiat-v-modu>

<sup>2</sup> А.Н.И.Петров. Отзыв от 11.04.2023 // <https://fantlab.org/work1556101>

<sup>3</sup> Евгения Лисицына. Пост от 4.10.2023 // <https://t.me/greenlampbooks/2188>

<sup>4</sup> Нифонт. Отзыв от 26.03.2023 // <https://fantlab.org/work1556101>

<sup>5</sup> Пост Мирослава Удалова от 20.12.2022 и комментарии к нему размещены в сообществе «Эдуард Веркин (Макс Острогин)» // [https://vk.com/wall-16632957\\_10251](https://vk.com/wall-16632957_10251)

<sup>6</sup> Василий Владимирский. Комментарий из личной переписки от 5.09.2023: «Если долго читать Веркина — не отдельные повести и романы, а тексты, написанные в разные годы, в разных условных “жанрах”, — нетрудно заметить, что автор выстраивает единую метавселенную. Сюжетные линии, мотивы, герои кочуют из одной книги в другую, появляются там, где их в общем не ждешь. Не факт, что это сознательная стратегия, возможно, разные произведения просто растут из одного и того же кусочка жизненного и литературного опыта автора. Алексей Светлов из “снарка” до степени смещения похож на другого веркинского “гения, миллиардера, плейбоя, филантропа” — центрального антагониста из раннего цикла “Хроники Страны Мечты”. Обаятельного, харизматичного, очень неглупого, говорящего много воодушевляющих, правильных слов. Который, сюрпрайз, выкупал детей из неблагополучных семей, из детских домов, а иногда просто похищал, чтобы использовать их в своих экспериментах. Такая параллель, в общем, многое в “снарке” объясняет: не трудно догадаться, что убийца — дворецкий».

Ну и да: другой важный персонаж “Хроник”, как и в новом романе Веркина — молодой писатель, только куда более успешный, создатель популярного цикла для подростков, такое альтер-эго автора. Неоднозначная фигура, человек, когда-то побывавший в той самой Стране Мечты, мечтающий вернуться туда — и одновременно боящийся возвращения, не верящий в чудеса, но мечтающий о чуде. Тут сходство менее очевидно, но понятно, что в “снарке” перед нами результат эволюции того же типажа. Не думаю, что тут вообще уместны какие-то рассуждения об ответственности, о соблазне, здесь совсем другой внутренний конфликт, совсем другой этический выбор: бежать при первой возможности — или вернуться в провинциальную банку с пауками, в это болото, которое неминуемо засосет с головой, остаться наблюдателем — или стать участником событий. Веркин верен себе: в “снарке” он рассматривает оба варианта, один в первом томе, другой во втором. Метавселенная усложняется, отражения отражений множатся. А убийца все равно дворецкий».

<sup>7</sup> *Никита Мина*. «Охота на снарка». О романе Эдуарда Веркина «снарк снарк» // Pechorin.net от 09.04.2023. <https://pechorin.net/articles/view/okhota-na-snarka-o-romanie-eduarda-vierkina-snark-snark>

<sup>8</sup> *А.Н.И.Петров*. Там же.

<sup>9</sup> *Евгения Шафферт*. Огромный роман Эдуарда Веркина про русскую провинцию из Короткого списка «Большой книги» // «Читает Шафферт» от 9.09.2023. <https://dzen.ru/a/ZO99xRw3SVbHDuRn>

<sup>10</sup> *Василий Владимирский*. «Смело говорите правду — все равно никто не поверит» // «Горький» от 12.12.2022. <https://gorky.media/reviews/smelo-govorite-pravdu-vse-ravno-nikto-ne-poverit/>

<sup>11</sup> *Михаил Гундарин*. В фиге брода нет // «Газета “ИСТОКИ”» от 19.08.2022. <https://dzen.ru/a/Yv-I5SEN2gpLDUvz>

<sup>12</sup> *Старобинец Анна*. «Лисьи Броды»: Отзывы жюри // <https://newhorizonsf.ru/y2022/lisetz/>

<sup>13</sup> *Мария Лебедева, Наталья Ломыкина*. Логика хаоса: «Его последние дни» Рагима Джафарова и «Лисьи броды» Анны Старобинец // Девчонки умнее стариков: Подкаст. Выпуск от 14.09.2023. <https://girlsbeviser.mave.digital/ep-16>

<sup>14</sup> *Старобинец Анна*. «Лисьи Броды»: Отзывы жюри // <https://newhorizonsf.ru/y2022/lisetz/>

<sup>15</sup> *Мария Лебедева, Наталья Ломыкина*. Там же.

<sup>16</sup> *Вадим Нестеров*. <Отзыв на роман> / Старобинец Анна. «Лисьи Броды»: Отзывы жюри // <https://newhorizonsf.ru/y2022/lisetz/>

<sup>17</sup> «Человек, выросший из ребенка, превращается в дракона»: интервью с Сашей Николаенко к выходу нового романа «Муравьиный бог: реквием» // «Между литературой и жизнью» от 21.10.2022. <https://dzen.ru/a/Y1FK2fBLlmyнTCv7>

<sup>18</sup> *Мария Лебедева, Наталья Ломыкина*. Белый стих о ненависти и трагедия умников: «Муравьиный бог» Саши Николаенко и «Протагонист» Аси Володиной // Девчонки умнее стариков: Подкаст. Выпуск от 4.10.2023. <https://girlsbeviser.mave.digital/ep-19>

<sup>19</sup> *Саша Николаенко*. «Наш дар — не натворить, а сотворить». Беседу ведет Шевкет Кешфидинов // «Урал», 2023, № 1. <https://magazines.gorky.media/ural/2023/1/nash-dar-ne-natvorit-a-sotvorit.html>

<sup>20</sup> *Валерия Пустовая*. Знаю, куда. Новые смыслы сказочной колеи // «Дружба народов», 2020, № 8. <https://magazines.gorky.media/druzhba/2020/8/znayu-kuda.html>

<sup>21</sup> *Наталья Ломыкина*. Дружба с дельфином и любовь к фиговому дереву: 6 книг о единстве человека и природы // ForbesLife от 10.07.2022. <https://www.forbes.ru/forbeslife/471011-druzba-s-del-finom-i-lubov-k-figovomu-derevu-6-knig-o-edinstve-celoveka-i-prirody>

<sup>22</sup> *Татьяна Веретенова*. «И, смерть не выдержав, перелистнуть страницу...» // «Юность» от 9.07.2023. <https://unost.org/authors/i-smert-ne-vyderzhav-perelistnut-straniczu/>

<sup>23</sup> *Валерия Пустовая*. Там же.

<sup>24</sup> *Татьяна Веретенова*. Там же.

<sup>25</sup> *Шевкет Кешфидинов*. Реквием детству, или Как прекрасен наш ад // «Знамя», 2022, № 10. <https://magazines.gorky.media/znamia/2022/10/rekvie-m-detstvu-ili-kak-prekrasen-nash-ad.html>

<sup>26</sup> *Татьяна Веретенова*. Там же.

<sup>27</sup> *Екатерина Иванова*. О книге С. Николаенко «Муравьиный бог» / О книгах «Наверность» В. Крутовой, «Я знаю каждую минуту» В. Харебовой, «Муравьиный бог» С. Николаенко, «Где логика?» Л. Костюкова // «Формаслов» от 15.09.2023. <https://formasloff.ru/2023/09/15/o-knigah-navernost-v-krutovoj-ja-znaju-kazhduju-minutu-v-harebovoj-muravinyj-bog-s-nikolaenko-gde-logika-l-kostjukova/>

<sup>28</sup> *Саша Николаенко*. «Наш дар — не натворить, а сотворить». Беседу ведет Шевкет Кешфидинов...

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> Там же.

<sup>31</sup> *Екатерина Иванова*. Там же.

<sup>32</sup> *Татьяна Веретенова*. Там же.

<sup>33</sup> *Саша Николаенко*. «Наш дар — не натворить, а сотворить». Беседу ведет Шевкет Кешфидинов...

<sup>34</sup> «Человек, выросший из ребенка, превращается в дракона»: интервью с Сашей Николаенко...

<sup>35</sup> *Мария Лебедева, Наталья Ломыкина*. Белый стих о ненависти и трагедия умников...

<sup>36</sup> *Саша Николаенко*. «Наш дар — не натворить, а сотворить». Беседу ведет Шевкет Кешфидинов...

<sup>37</sup> *Мария Лебедева, Наталья Ломыкина*. Белый стих о ненависти и трагедия умников...



*Ольга Балла*

## Все настоящие писатели — в глубине души барсуки

Как говорить о литературе, если ты сам — практикующий литератор и делаешь её собственными руками? Какие мыслимы при этом позиции в отношении анализируемого предмета — кроме классической позиции критика (включая её), какие типы работы с текстом, практики и стратегии понимания? В этом нам и помогут разобраться книги очень разных авторов, встретившихся на обозревательском столе волею счастливого случая.

**Сергей КОСТЫРКО. Критика-2. — [б.м.]: Издательские решения, 2022. — 310 с.**

Автор этого сборника — вообще-то не только критик, более четверти века проработавший в отделе критики «Нового мира». Он — прозаик и эссеист, автор нескольких книг прозы, знающий процесс создания литературных произведений изнутри. В сборнике его статей и рецензий, публиковавшихся ранее в периодике (в «Новом мире», «Знамени», «Русском журнале» и «Частном корреспонденте») — во второй, после «Простодушного чтения» (М.: Время, 2010), книге текстов Костырко о литературе — представлена чистая, классическая позиция критика (писатель-практик при этом отступает в тень и не заявляет себя вообще никак, но не сомневаюсь, что из этой тени он наблюдает за анализируемым и делает важные для себя выводы). Как и в первом его критическом сборнике, эта позиция максимально далека от всякого заявленного простодушия, автор же критичен прежде всего прочего к своим собственным суждениям и даже к собственной способности выстраивать таковые. «...Не являюсь, — говорит он в самом начале, — и никогда не стремился быть критиком, который “в переднем ряду”, который “лидер мнений” — поводёр для читателя и наставник для писателя, объясняющий, как надо читать и как надо писать. Завидую тем, кто это знает, как надо. Я — не знаю. Я всё ещё пытаюсь это выяснить, приступая к разбору каждого нового художественного текста».

(Небольшой спойлер: Костырко анализирует здесь совсем не только художественные тексты — а первая часть книги вообще целиком посвящена работе коллег-критиков — и это выходит нисколько не менее интересно.)

Как будто уклоняясь — по крайней мере, декларативно — от формулировки чего бы то ни было, претендующего на общезначимость, занимая подчёркнуто смиренную (и очень сложную по своему устройству) позицию просвещённого и мыслящего частного наблюдателя, Костырко на самом деле видит огромную, формирующуюся на его глазах картину современного ему литературного процесса, следит за тем,

как она складывается, и мыслит большими обобщениями. Как свидетельствует многознающая Википедия (не сам ли автор и писал?), «Костырко удерживается от соблазнов программной, концептуальной критики» — видя свою задачу единственно в том, чтобы разобраться в устройстве конкретных текстов. Удерживается он от них, я бы сказала, так, что концептуальность (а с нею и некоторая программа) у него разлита в текстовом воздухе, — она работает, не будучи демонстрируема. На самом деле тут ничто не пишется с чистого листа: у Костырко внятные, прекрасно продуманные представления о том, как литературе вообще-то стоит быть устроенной; очень упрощая, — когда она хороша и когда плоха (другое дело, что он действительно никого не наставляет). Каждого анализируемого им автора он сразу же видит как узел многих далеко идущих, многое связывающих тенденций. И положения формулирует именно что вполне способные выдержать бремя общезначимости — быть несущими конструкциями некоторого теоретического построения (впрочем, как автор уже предупредил нас в предисловии, «за писание “Поэтики” я, разумеется, никогда не сяду»). Я бы назвала это латентной теоретичностью.

В эту книгу Костырко собрал результаты своих наблюдений над литературой за последние примерно пятнадцать лет. Лишь один текст, помещённый в постскриптуме, из другой исторической эпохи, из 1992 года, — «любительские заметки профессионального читателя» — вот, пожалуй, близкая к максимальной точности формулировка его позиции — о состоянии русской литературы в самом начале постсоветской эры. Список его героев, впечатляющий своей разнородностью, несводимостью, кажется, ни к какому общему знаменателю, способен показаться даже эклектичным: Василий Аксёнов, Кирилл Анкудинов, Анна Аркатова, Сухбат Афлатуни, Дмитрий Бавильский, Сергей Беляков, Ксения Букша, Сергей Гандлевский, Алиса Ганиева, Александр Генис, Сергей Григорьянц, Леонид Губанов, Лев Данилкин, Елена Долгопят, Евгений Ермолин... (и это не полный перечень). Ой.

Удерживать всё это в поле зрения одновременно возможно, лишь имея некоторую интуицию целого. И у Костырко она явно есть. Одну из черт этого целого можно назвать уверенно: ему интересны тексты — и авторы — неоднородные, в чём бы то ни было неожиданные, с внутренним парадоксом, а то и не с одним, не укладывающиеся в типовые определения. (Вот прелестно о Генисе: «“поэт”, пишущий художественную прозу в жанрах, предназначенных для “ритора”», или о «Красной точке» Бавильского: «Неправильно написанный правильный роман».) То есть, в конечном счёте, — те, кто открывает перед литературным целым новые возможности.

В основном, как видим, это литература, пишущаяся по-русски и большею же частью — сейчас. Исключения исчислимы на пальцах — правда, обеих рук: В.Г.Зебальд, Уильям С. Берроуз, Гертруда Стайн, Кристиан Крахт, Чарльз Буковски, китайский нобелиат Мо Янь — это из фигур и знаковых, и обладающих уже закреплённым местом на литературных картах, которое Костырко и не проблематизирует, — но разбирается в их текстах единственно потому, что ему интересно их устройство, — а также зарубежные авторы книг о столь же знаковых фигурах: автор воспоминаний о Бродском Эллендея Проффер, и биограф Хемингуэя Альберик д'Ардивилье, и Себастьян Хафнер, автор книги на очень знаковую тему: частный человек перед лицом диктатуры, которой он не принимает. Есть среди них, однако, и фигура, знаковости пока не достигшая, но явно на неё претендующая, — чешский прозаик и поэт Марек Шинделка, «именитый у себя в Чехии» и «с уже <...> начинающейся славой в Европе», у нас совсем неизвестный (Костырко очень благожелательно рецензирует перевод его «лирико-медитативной прозы» «Карта Анны», вышедший у нас тиражом, близким к ничтожному); и фигура совсем уж неожиданная в такой компании — колумнистка «Эсквайра» и «Нью-Йорк Таймс», она же известная порно-актриса Стоя (Джессика Стоядинович), сборник текстов которой «Философия, порно и коттики» вышел в русском переводе в 2020 году. (В каком-то смысле да, «низкого» и «высокого»

для настоящего критика нет: было бы в анализируемом тексте хоть что-то достойное интереса. Костырко находит.) Удивительно ли, но при анализе даже вполне беспомощных в художественном отношении творений последней Костырко умудряется, во-первых, поставить их в весьма широкий контекст — соотнести прочитанное с увиденной в московском Музее Востока «бронзовой скульптурой Ситы и Самвары в момент соединения — момент “пустоты и блаженства” (“пустоты” в буддийском понимании)». Да, сопоставление выходит никак не в пользу Стои, но примечательно само стремление мерить даже мелкие суетные тексты высокой мерой. А во-вторых, он включает боковое зрение. Он умеет рассмотреть в книге, ничем не выдающейся, достоинства там, где, может быть, они остаются неведомыми и тому, кто её написал: «...Там, где автор в своём повествовании отступает от темы секса хотя бы на полшага, ну, скажем, в её “периферийных” описаниях аэропорта, где пришлось делать пересадку, или бесконечного здания, по которому она с другом плутает в поисках укромного места, или где она описывает ночное кафе в Нью-Йорке и узнавших её и ставших жутко приставучими мужиков; где она описывает путешествие по дорогам Америки, или рассказывает, как была не порно-, а просто актрисой, — вот на этих страницах Стоя — классный прозаик». Иногда для этого приходится привлекать свои познания в других культурных областях — в данном случае, в кинематографе: «...Приёмы монтажа, с помощью которого она создаёт изображение, манера использовать неожиданные, несочетаемые как бы детали — у неё всегда на высоте».

Костырко — критик пристальный до въедливости. Он одновременно внимательнейше всматривается в подробности устройства анализируемых текстов, разбирает их по волокнам — и ставит в большие контексты. Притом — что возможно только в случае, когда ты держишь перед внутренними глазами очень широкую картину происходящего в литературе — иной раз в весьма неожиданные: так, у Марека Шинделки он обнаруживает сходство, структурное родство с Ксенией Букшей (кстати, одной из его любимых героинь, — ей в книге посвящены несколько текстов. Таким, особенно интересным ему, писателям, отдан целый второй раздел книги).

Вообще же у меня такое впечатление, что — на материале литературы, не выходя за пределы этого материала, используя именно его ничем не заменимые возможности, — Костырко размышляет об устройстве и динамике жизни в целом. То есть делает именно то, чем занимается литературная критика в одном из наиболее интересных своих обликов.

**Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ. Незримый рой. Заметки и очерки об отечественной литературе. — М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2023. — 448 с.**

Поэт, прозаик, эссеист Сергей Гандлевский говорит о литературе как человек, глубоко в неё вовлечённый — как один из тех, кто делает её собственными руками. Знающий это ремесло подробно и на ощупь, он (в отличие от совершенно убирающего в своих критических текстах себя-писателя с читательских глаз долой Сергея Костырко) охотно делится своими знаниями, наблюдениями и соображениями о нём со всеми, кому это может быть интересно. Позиции критика в строгом смысле Гандлевский не занимает — то есть, в число его забот не входят новейшее, текучее и пластичное, возникающее на наших глазах и ищущее себе места в литературном целом, его проблематизация и оценка в рабочем порядке. Под этой обложкой, где собраны все тексты о русской словесности, написанные Гандлевским за три десятка лет, он — литературовед-эссеист, одновременно неакадемичный — и с профессионально отточенным взглядом. Авторского «я» тут довольно много, и оно является нам в разных обликах: читающий и пишущий, аналитик и лирик, теоретик культуры и метафизик в их неразделимом единстве попеременно уступают друг другу место

на первом плане (непрерывно же друг с другом советуясь и обмениваясь опытом). В первых двух частях книги главенствуют (не вытесняя своих альтер эго совсем) читатель, аналитик, историк культуры и теоретик её, в третьей их сменяют пишущий, лирик и метафизик, — но всё это разные стороны одной цельности.

По существу книга автобиографическая: история собственной жизни и мысли, рассказанная на материале того, что занимало и занимает автора более всего прочего. (И не лучший ли это из способов рассказать свою жизнь?) Иногда Гандлевский автобиографичен напрямую — но эмоциональная его история неизменно совпадает тут с читательской: «В литературных <...> героинь я с полуоборота почти не влюблялся ещё и потому, что сердце моё несвободно: вот уже сорок с лишним лет (с перерывами на приступы головокружения от Настасьи Филипповны или Лолиты) я привычно, ровно и восхищённо люблю Татьяну Ларину. Она нравится мне целиком и полностью, мне дорог каждый поворот её вымышленной судьбы».

Предмет неспешного внимания поэта — работа особенно интересных лично ему «собратьев по цеху» — от несомненных классиков: Пушкина, Фета, Ходасевича, Георгия Иванова, Набокова, Бабеля, Заболоцкого — до современников автора: Александра Межирова, Семёна Липкина, Льва Лосева, Александра Сопровского, Алексея Цветкова, Дениса Новикова. Из современников Гандлевский многих знал лично, с иными — как, например, с Сопровским — был связан дружбой, — в таких случаях он говорит о личностях поэтов не в меньшей степени, чем об их поэтической работе, да по сути и не отделяет одного от другого. И, наконец, предметом рассмотрения становится опыт собственных отношений Гандлевского с поэзией и её — таинственная, но обсуждению всё-таки поддающаяся, даже требующая его — природа. «Поэзия относится к реальности, как беловая рукопись к черновику. Драматизм жизни не выдумка искусства. Драма в природе вещей, но вещи её застыт. Поэзия наводит жизнь на резкость, и главная праздничная основа существования проступает из повседневной невнятицы».

Этому последнему кругу тем посвящена третья часть книги — «Домашняя работа», — как бы вывод (совокупность таковых) из всего многодесятилетнего опыта общения с искусством. Первые же две части делятся не по типам героев — на «классиков» и «современников», как можно было бы ожидать, но сложнее: по фокусировке внимания. Сообразно этому, в первой части — «Крупным планом» — Гандлевский пристально рассматривает устройство отдельных текстов — как тех, так и других, начиная прямо с самого Пушкина. Ещё точнее: берёт тексты известные, прочитанные многими и многократно, и перечитывает их ещё раз, и прокладывает этому прочтению собственные пути. Замечает недозамеченное (о стихотворении Фета: «Это прекрасное стихотворение кажется простым и логичным, но однажды я обратил внимание, что автор заблудился в дебрях собственного воображения и не вернулся в исходную точку». А говоря об одном стихотворении Евгения Рейна, на первый взгляд «вызывающе простеньком» и даже «сработанном из одних поэтических банальностей», Гандлевский показывает, что оно «восходит к древним хтоническим представлениям и подсознательным переживаниям»), выявляет неявное. Из Пушкина он перечитывает четыре маленькие трагедии — «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы» — и, заметив, что они «в разной мере, но писаны по испытанным лекалам западноевропейской литературы, так что в фабульном смысле Пушкин Америки не открывает, и прохладно-вежливое почтение не знающих русского языка иностранцев к отечественному культу Пушкина имеет под собой кое-какие основания», — усматривает в них своего рода карту человеческого существования — описания главных «напастей и несправедливостей жизни»: «Нужда и связанные с ней страдания и унижения»; «Страсть к творчеству, омрачённая завистью из-за абсолютно произвольной раздачи природных способностей»; «Любовная страсть — ещё один пример произвола со своим особым адом — ревностью»;

«И наконец — смерть как высшая форма несправедливости: разом отбирается всё, и всё обесмысливается». То есть получается, что в этих почти-переводах с чужих, западных, оригиналов Пушкин не просто говорит своё: он выговаривает универсалии.

Во второй части, «В общих чертах», Гандлевский рассказывает о своём читательском и человеческом общении с поэтами, начиная — поверите ли? — снова с Пушкина. Тут он берёт Александра Сергеевича, постоянного своего собеседника, «общим планом», говоря о его отношении к жизни вообще («Каждую пору жизни Пушкин переживал как праздник — праздник отрочества, юности, зрелости. Смерть Пушкина лишила Россию канона старости») — и о своей любви к нему, на примере которой проясняется заодно и природа любви как таковой: «Тютчев сравнил Пушкина с первой любовью. А она иногда тяготит, как наваждение. Может захотеться взять и развеять морок, убедить себя, что любовь — одно самовнушение. И мнительно, с богоборческим азартом перечитывая подряд страницу за страницей, и впрямь видишь, что ничего там особенного нет, просто больше удач, чем у других, а так — слова как слова. Есть шедевры, но больше злобы дня, альбомных пустяков, дружеского юмора, интересов кружка... И со сложным и не сказать чтобы приятным чувством преступной правоты, с очередным подтверждением взрослого знания, что чудес не бывает, книгу закрываешь. Но проходит какое-то время, и чудо всё-таки совершается. Пушкинское обаяние, рассеянное было с таким варварским прилежанием, возрождается как первозданное и снова превращается в “воздушную громаду”. Это и есть любовь».

Мысли о литературе, об искусстве вообще как — неразделимо — чуде-и-труде заключают сборник как бы в рамку, не только замыкая, но и открывая её: небольшим эссе о чтении в детстве. На самом деле это опять-таки целая внутренняя автобиография — только очень концентрированная и снова рассказанная на материале отношений с текстами, для автора — на важнейшем из материалов. Биографическая линия описывает круг — от детского не-чтения, сопротивления чтению («читать я начал из-под палки между восемью и девятью годами») до нарастающего потихоньку не-чтения позднего, когда — к собственной печали, к собственному удивлению — человек начинает от потребности в чтении освобождаться: «И вообще я с огорчением замечаю, что с годами моя потребность в чтении убывает». Между этими экстремумами — долгий, почти не открытый нам читательский путь. Тут показаны только некоторые важные его точки, среди которых, может быть, важная — телесно прочувствованный «поворот души», пережитый автором в отрочестве, свидетельство власти литературы над человеком: «Мне было лет двенадцать-тринадцать, когда, понукаемый родителями и свернув шею почти на 180 градусов, чтобы не терять из виду КВНа за толстой линзой, я плёлся через проходную взрослую комнату в детскую. В тот вечер я шёл в кровать так изуверски медленно, потому что в телевизоре билась в истерике и бросала деньги в огонь Настасья Филипповна. Наутро я достал нужный том с полки, впал в оцепенение и к концу первой части физически ощутил, как у меня повернулась и встала поперёк грудной клетки душа». Казалось бы, совсем забытое, это чувство вернулось через двадцать с лишним лет: «...Вспомнил, когда тридцати пяти лет от роду захлопнул “Пнина” с отроческим недоумением и растерянностью: вот оно и кончилось, и как же мне теперь быть?»

Всё-таки замороженность литературой не исчезает, не перестаёт многое (не всё ли?) определять в человеке, даже если он уже перерастает её (и замороженность, и литературу) и находит себе иные формы понимания, интенсивности и свободы.

**Наталья РУБАНОВА. Русский диссонанс. От Топорова и Уэльбека до Робины Куртин: беседы и прочтения, эссе, статьи, рецензии, интервью-рокировки, фишки. — СПб.: Лимбус-Пресс, ООО «Издательство К.Тублина», 2023. — 518 с.**

По роду занятий Наталья Рубанова — писатель, литературный и сценарный агент, эксперт и редактор, издатель, консультант по литературному письму (я ничего не забыла?). По типу культурной позиции — во всех без изъятия своих профессиональных обликах, ну, по крайней мере, в тех, что доступны нашему взгляду под этой обложкой — по меньшей мере проблематизатор, а то даже и сам взрыватель основ. И если попытаться коротко ответить на вопрос, чего ищет она в русской и иных словесностях, кого из делающих литературу и культуру она видит особенно интересными, то ответ, думаю, получится примерно таким: интересно ей всё, сопротивляющееся укладыванию в рамки; ломающее эти рамки, крушащее стереотипы, выбивающее (кого? — от каждого из нас с вами — до культуры в целом) из равновесий и инерций; выявляющее в культуре и социуме уязвимые точки и потенциальные разломы. Все, в ком можно хоть что-то такое найти (а Рубанова находит, она умеет. «Он написал несколько текстов, взорвавших мозг нескольких поколений», — пишет она об одном из своих героев, Илье Кормильцеве, — важном настолько, что рецензия на его посмертный трёхтомник помещена в раздел не рецензий, а интервью — «бесед и прочтений»: это разговор с ним). Рубанова и сама такая.

И говорит она в книге не только о литературе (которую явно видит как часть культурного целого), но о чём только не — и с кем только не. Большую часть книги — добрые две трети — составляют интервью, в которых автор оказывается по обе стороны микрофона: в статусе и вопрошающей, и отвечающей; а среди них ещё и одно неинтервью, героиня которого отвечать на вопросы не стала — но взамен того Рубанова сама рассказала о несостоявшейся респондентке всё важное, что, как она считает, должно присутствовать в русском культурном сознании. Собеседниками же Рубановой оказываются — да, главным образом коллеги-литераторы (Мишель Уэльбек, Фредерик Бегбедер, Вероника Долина, Людмила Улицкая, Денис Драгунский, Валерия Нарбикова, Гузель Яхина, Алина Витухновская, Александр Иличевский... — список неполный; легко заметить, что разные до предела), но кроме того актёры (Ирина Печерникова, Татьяна Веденеева), музыканты (Полина Осетинская, Елена Камбурова), режиссёры (Иосиф Райхельгауз, Павел Лунгин, Виктор Собчак), богослов (Андрей Кураев), политик (но он же литератор, коллекционер, экс-мэр Екатеринбургa и основатель организации «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, признанный в РФ иноагентом), непоименованный пиарщик (в «Разговоре литагента с пиарщиком») и даже одна буддийская монахиня — досточтимая Робина Куртин. Да-да, та самая, которая отказалась отвечать на вопросы — и оказалась обозначенной в самом заглавии книги как одна из экстремальных точек рубановской упоминательной клавиатуры. Противоположный экстремум той же клавиатуры — Топоров, да не Владимир Николаевич, а самый что ни на есть Виктор Леонидович, «санкт-петербургский “литтеррорист”, он же литхирург». Этому, как нежно называет его автор, «влюблённому в книги большому ребёнку» при жизни его, как справедливо замечает она же, далеко не всякий пишущий отважился «положить <...> палец в рот — читай: вложить в его мозг свой новый текст», а Рубанова не только вкладывала, но даже посвятила ему всю ныне рецензируемую книгу. Как письмо — «Топорову, до востребования». Как, значит, одному из ориентиров, — возможно, отчасти и учителей. И уж точно — одному из собеседников: второе же из вошедших в книгу интервью — с ним).

Жанрового разнообразия книги всё названное ни в коей мере не исчерпывает. Наряду с «беседками и прочтениями», статьями, рецензиями и «фишками» (термин не раскрывается, но интуитивно догадаться можно), сюда включены, например, репортаж с художественной выставки («Строга [холст, масло]»), ещё репортаж («...последнего

снега»), (входящая в состав «фишек») читательская автобиография «Жили-были король с королевой», а также написанное «МИМО БУКВ» и «МИМО ЖАНРА» (капслок автора), «эссе в ежовых кавычках», «эссе-сон» и выдержка «из неопубликованного предисловия к ненаписанной книге».

Вообще, честно говоря, писать о Рубановой скучными дисциплинированными словами не поворачиваются пальцы на клавиатуре. В её манере говорить и писать (о, представляю себе, как многих эта манера может раздражать — и уж наверное раздражает) есть что-то гипнотическое: немедленно хочется в ответ ей изъясняться так же (а изъясняется она примерно следующим образом: «А особенно полезна пилюля под названием “Барсучья нора”. Сказочка эта про мелического поэта, барсука Митю, соггу за слетевшее с “мышки” ругательство, — квинтэссенция того, что писучее племя называет литературным — и снова соггу — “творчеством”. Барсук Митя — настоящий писатель, а все настоящие писатели, по Андрею Степанову, в невероятных сказках которого — бывают ли *вероятные*? — сквозит что-то латентно-андерсеновское, в глубине души барсуки». Так начинается рецензия на книгу Андрея Степанова «Сказки не про людей»; открываю почти наугад. Даже в простых врезках к интервью — текст, казалось бы, служебнее некуда — Рубанова предпочитает говорить с вызовом, который как будто не требуется существом дела, но требуется чем-то более глубоким: общим мировосприятием автора, отношениями её к предлагаемым обстоятельствам — существования вообще: «Пресловутая встреча из экс-лайф (как, впрочем, всё в этой книге), — предваряет она разговор с Евгением Ройзманом<sup>1</sup>, — в простой московской “Шоколаднице” образца 2019: тогда ещё прогуливаю так называемую основную работу, чтоб записать интервью — всё как в очень средней школке и в снулом институте, когда *отменяешь* нудные уроки и пустозвонные лекции». Курсив автора). Ближе всего к такой манере речи и определяющего её мышления видится мне — нет, не провокация, не подросткового типа бравада и протест против рутины и неправд того, что взрослым кажется привычным и нормальным (хотя без этого, без вполне намеренного эпатирования обладателей косных умственных привычек и рутинных эстетических установок, надо думать, тоже не обходится) — а джазовая импровизация. Причём почему-то кажется, что на кларнете. Возможно, потому, что звук у него — независимо от любых резкостей, поверх их всех — глубокий, округлый и тёплый.

(И только уже написав это в достаточной мере безумное предположение, автор этих строк, уточняя данные своей героини в интернете, вычитал там, что Наталья закончила Музыкальное училище имени Пироговых по классу фортепиано и МПГУ со специализацией «музыкальная психология». Значит, всё правильно.)

Ну, чтобы говорить так же, надо быть Рубановой или обладать хоть сопоставимым с нею миро- и самоощущением, покорный ваш обозреватель — ни то ни другое, но расковывающим воздействием на читающего и пишущего в ответ — её тексты очевидным образом обладают.

Конечно, в самой стилистике этих текстов (всё-таки — в стилистике; их тут на самом деле, при внимательном рассмотрении, несколько) заключается значительная и неотменимая часть их содержания. Тем не менее все эти экстравагантности, все эти внешние эффекты — именно потому, что для автора они несомненно органичны, — из числа тех, что не должны вводить в заблуждение: то есть приводить к мысли, что они поверхностны, что они — ёрничанье и эпатаж ради того, чтобы произвести впечатление на публику; или что они, допустим, игра. Ничуть не бывало. У Рубановой, во-первых, всё всерьёз (игры тоже); во-вторых, у неё острый беспощадный ум и ясное видение. Как яркая раскраска у ядовитых насекомых, эта манера речи сигнализирует о том, что обладательница её не намерена никому быть удобной — истина (то, что автору

---

<sup>1</sup> Внесен в специальный реестр иностранных агентов Минюста РФ.

таковую видится) гораздо дороже, — а в случае чего не намерена никого и щадить. Но если она что-то высоко оценивает (да, положительные рецензии Рубанова пишет и высокие оценки — даёт) — тут можно быть уверенным: к лести человек с такой речью точно не расположен, тут всё по-настоящему (ну субъективно, да, — а у кого, интересно, нет? Только тут субъективность не маскируется). Это маркер трудной честности (может быть, и для самого автора нелёгкой). Именно это, надо полагать, виделось ей основополагающим в Викторе Топорове, которому книга-письмо адресована.

Литературы в целом она и не жалуется, и, да, не щадит: «...В отечественной похоронной *литпроцессии* (термин мой: независимого *литпроцесса* у нас нет) балом правит в массе своей всё же посредственность: так и ранжируют авторов — по способности писать “не лучше, чем условный Сидоров”. Ведь если писать “лучше, чем условный Сидоров”, можно стать его конкурентом. А этого (конкурента-то) писатели-всея-руси не потерпят, ибо узки врата к кормушке да тернист путь».

А вот собеседников — тех ли, с кем общается в интервью; тех ли, чьи книги рецензирует (это ведь тоже собеседничество) Рубанова видит, слышит и чувствует прекрасно, отслеживает их состояния, вообще обращает внимание на их телесный облик, бытовые привычки, манеру поведения (о Веденеевой: «...Является Веденеева, по-барски заполняя пространство ароматом духов и играя огромными перстнями. Первым делом Татьяна-свет-Вениаминовна подходит к зеркалу и, проводя рукой по волосам, улыбается: причёска, как и костюм, отменны. Элегантная дама. С чёртиками в зрачках. Она сама себе нравится: так — можно, да только так и нужно!». Всё это важно, важно), разговаривает с ними уважительно, внимательно, с подробным знанием предмета обсуждения и жизни собеседника вообще. Это ли не самое главное.

Не говоря уж о понимании того, что все настоящие писатели — в глубине души барсуки.

### **Валерий ПЕЧЕЙКИН. Пушкин, помоги! — М.: Эксмо, 2023. — 224 с.**

А вот Валерий Печейкин — вовсе даже не критик. По роду занятий он писатель, драматург, сценарист, — а в отношении авторов, текстов, обсуждаемых в этой книге, — «всего лишь» — заинтересованный, вовлечённый, понимающий — читатель. Точнее, перечитыватель: каждое из произведений, о которых тут идёт речь, каждый из упоминаемых писателей — часть культурного кода, общего символического запаса. Вынесенный на обложку Пушкин. Гоголь — «криповый и кринжовый». Достоевский. Толстой — в его противостоянии Шекспиру, а заодно и сам Шекспир. Гончаров. Ахматова. Авторы чуть менее очевидные для наиболее массового сознания: Владимир Одоевский, Фёдор Сологуб. И Kafka, великий русский писатель (нет, не ошибка и даже не опечатка. Врос в русское понимание мира — даром что, по всей вероятности, сильно отличное от его собственного. Матрицы заложил.).

Всё это мы скорее всего читали, ну, по крайней мере проходили в школе, что, конечно, качественному чтению не тождественно, но след оставляет; ну по самой-самой крайней мере не раз обо всём этом слышали, потому что — в воздухе носится. И сам автор книги наверняка не раз читал, — потому дело его (и наше с вами) тут — открытие не столько нового (хотя классика на то и классика, что обладает теоретически неисчерпаемым потенциалом новизны), сколько недооткрытого. Продумывание недопродуманного.

Так что Печейкин ещё и внимательный аналитик (лёгкостью его интонаций тут никоим образом нельзя обманываться). По отношению же к собственным своим читателям — внимательный и, что особенно к нему располагает, равный собеседник. Без наставничества, — делится собственным опытом, к которому и сам вполне критичен.



Так вот, читательская-перечитывательская-собеседническая позиция сообщает ему — а тем самым и его текстам — особенную свободу.

Вообще-то этому сборнику (связанных общими интуициями) размышлений о великих писателях «от Пушкина до Кафки» (написанных специально для книги), «сочинений на свободную тему» и «текстов в воздухе» (буквально в воздухе: автор писал их как колонки для бортового журнала авиакомпании S7) самое бы место в разговоре о нынешней, особенно школьной, рецепции классических авторов и текстов, состоявшемся в «Дружбе народов» в ноябрьском номере минувшего года<sup>1</sup> (кстати, хорошо лёг бы туда и сборник Гандлевского с его вниманием к вечным собеседникам; да что уж теперь). Книга Печейкина в точности об этом: что могут значить для нас сегодня классические тексты и авторы — в статусе не музейных и школьно-обязательных, а живых и включённых в происходящее здесь-и-сейчас, способны ли они отвечать на возникающие сегодня вопросы (спойлер: прекрасно способны; отдельный интересный разговор, благодаря чему именно и как с этим бороться. А бороться иной раз, ой, надо... чуть ниже будет пример) и как вообще о них сегодня говорить?

Печейкин как раз и представляет один из возможных форматов такого разговора. Понятно, что тут фокус внимания получается несколько сдвинутым с классиков как таковых в сторону нашего времени и наших проблем; но к чести автора надо сказать, что классиков из виду он при этом не выпускает.

Главное и самое трудное: он умеет (так и хочется сказать, отваживается) говорить об обсуждаемых авторах без пиетета и придыхания — и одновременно удерживать дистанцию, позволяющую видеть прежде всего именно читаемого автора, а не собственные наши потребности, всегда в той или иной мере сиюминутные, то есть, в общем-то, формы слепоты. К чему приводит устранение дистанции, Печейкин ясно видит на примерах наших современников и знает (невысокую — и разрушительную) цену такому прочтению. («Каждое время, — говорит он, — поворачивает Пушкина своей стороной. Несколько лет назад я узнал, что Пушкин стал ругать Америку». Пуще того, Александр Сергеевич и демократию ругал. А узнал автор об этом «из интервью экс-министра культуры Мединского. Цитата была такой: “С изумлением увидели мы демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках и нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё, возвышающее душу человеческую, подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству. Такова картина Американских Штатов, выставленная перед нами”». Тут уже понятно, с чем стоит бороться. С соблазном убедительности и с выдираньем речений классиков из их родимого контекста.

(Впрочем, как справедливо заметил автор второй из обсуждавшихся нами сегодня книг, Сергей Гандлевский, «действительно хорошая книга обладает свойствами зеркала и отражает запросы и духовный уровень читателя. Совершенно разные люди — будь то эстет, или мастер вычитывать из книг какой-либо подтекст, или подросток, любитель приключенческой литературы, — каждый из них с полным основанием найдёт в “Капитанской дочке” то, что ищет».

Остаётся только добавить, что любой хороший, многомерный текст вообще обладает такими свойствами, так что мы, читающие, будем выдирать из таких текстов цитаты и приспособливать их под собственные нужды, пока смерть не разлучит нас.)

Итак, что же делает сам Печейкин? Пишет он в формате не критических статей, не рецензий, но (квалифицированных) частных мнений. Мнений, очень внятно

---

<sup>1</sup> В «ДН» (№ 11, 2023) книгу В.Печейкина рекомендует Евгений Абдуллаев: «Это умная и веселая книга. Адресована она как бы преподавателям (открывает ее глава “Письмо школьным учителям”), но, уверен, ее с интересом прочтут и старшеклассники. Печейкин работает как креативный варвар, а точнее, как креативный менеджер, пытающийся показать, что классика — не просто современна, но злободневна, полезна, необходима».

структурированных и с привлечением не только — и даже не в первую очередь литературного контекста ныне перечитываемых классиков, но всего того, что прожито нашей культурой с тех пор, как эти основополагающие для неё тексты были написаны. Это опыт — ни в коей мере не упрощающего, но, напротив того, — объёмного чтения текстов: прочитывания их, в пределе, всем культурным целым, в достижимом оптимуме — с помощью разных средств, которые в этом целом наличествуют. К такой объёмности видения — к активному вовлечению в восприятие классиков своего культурного опыта — он своим примером подталкивает и читателей.

Так, в понимании Гоголя «внезапно» приговаривается автору и современник наш Александр Эткинд с его недавней книгой о внутренней колонизации — о российском имперском опыте («...майор Ковалёв — как Российская империя, теряет какую-то свою часть. Ковалёв-империя страдает из-за этого, мается, жалуется»), и снятые уже в наше время фильмы («Сегодня мы берём у Гоголя ужас. Вспомните фильмы с Александром Петровым — мистический детектив-триллер про Гоголя и следователя, которого сыграл Олег Меньшиков...»); стоит припомнить заодно и то, что другие эпохи читали те же тексты иначе: «Советская власть брала у Гоголя кринж — стыд за Российскую империю». И да, это в Гоголе тоже было.

И, наверно, одна из самых важных авторских мыслей (вообще их тут много разных, как бы невзначай рассыпанных по обочинам основного рассуждения, чем книга и прелестна): каждое из таких прочтений — скорее всего, каждое из прочтений в принципе — всегда, по определению, будет недостаточным. «Эти фильмы тоже кому-то могут показаться кринжовыми, но для самого Гоголя нет внутреннего противоречия между ужасом и смехом». Перечитывания — многократные, в том числе и в пределах одного поколения (не говоря уж о том, что — разными) затем и нужны, чтобы это видеть.

*Борис Минаев*

## «А.Т.» — попытка закругления

«За утренним чаем мой отец отложил в сторону газету и сказал:

— Если обстоятельства будут благоприятны, мы поедем в Константинополь».

Так начинается рассказ «Константинополь», давший название всей книге прозы Арсения Тарковского.

Фраза, которая волновала поэта в детстве своей загадочностью, открытостью неведомым бескрайним просторам — она и впрямь удивительная. Есть в ней какая-то нескончаемая мечта. И то, что мечта эта неясная, неконкретная, мечта о давно задуманном и никогда не осуществленном путешествии, — делает ее еще более удивительной. Безграничной.

...У спектакля «А.Т.» Кудымкарского Коми-Пермяцкого театра — как бы это выразить поточнее — тоже нет границ.

Зритель весь спектакль видит сцену, утыканную колосьями, — этакое бескрайнее хлебное поле. Притом что все действие происходит в небольшом губернском городе Российской империи — Елисаветграде, где вырос Тарковский. Но нет на сцене ни заборов, ни крыш, ни яблоневых садов, нет базара, замерших переулков, нет шкафов и стульев, — лишь изредка появляется стол со скатертью.

Хлебное поле — знак бесконечности пространства. И прежде всего — пространства поэтической памяти.

В спектакле нет границ между поэзией и прозой, между словом и музыкой, между мистическим обрядом и крестьянским трудом, между документом и фантазией, между почти религиозным хоровым пением стихов Тарковского и бытовыми сценками из его же жизни.

Когда крестьяне с колотушками и трещотками идут по хлебному полю, выгоняя то ли зловредных насекомых, то ли злых духов, — что это? Мистерия? Танец?

...Удивительно, конечно, что такой сложный, многозначный, полифоничный спектакль, богатый смыслами и ассоциациями, — родился в маленьком Кудымкаре, в городе с менее чем 30-тысячным населением. Режиссёрская команда — создатели спектакля — из Москвы (режиссёр и автор инсценировки — Сергей Тонышев, художник — Филипп Шейн, художник по свету — Иван Васецкий), а вот актёры — местные, и это вторая, не менее важная, часть команды создателей спектакля (Сергей Лизнев, Роман Арапов, Дмитрий Хорошев, Алексей Бусыгин, Анна Окулова, Валерия Новодворская и другие).

Про актёров чуть позже, а пока хочу сказать доброе слово тем, кто осуществляет эту, как принято сейчас говорить, колаборацию (во времена юности Арсения Тарковского говорили «смычка»). Это прежде всего конкурс «Уроки режиссуры», который позволяет молодым режиссёрам и провинциальным театрам регулярно

показывать свои лучшие работы в Москве. (Кстати, спектакль из Кудымкара стал одним из победителей фестиваля.) И программа «театральных лабораторий» под руководством Олега Лоевского (о котором «ДН» писала в № 9 за 2023 год).

«А.Т.» показывали в театре имени Моссовета, на большой сцене, при полном аншлаге, зрители стояли в проходах, заполнили все ряды балкона и бельэтажа — строго говоря, я такого от Коми-Пермяцкого театра не ожидал.

Причина простая: очень хочется неожиданного, свежего дыхания в сегодняшнем театре. Очень давно хочется.

Что касается актёров, то у них задача, конечно, была сложной. Во-первых, сцена и зал — трудно не растеряться в этом огромном, гулком, да еще и намоленном именами Плятта и Раневской, пространстве. Во-вторых...

В программке их роли обозначены так: «молодая мама А.», «отец», «Валя, брат А.», «Ленка, сестра А.». На самом же деле это не персонажи и не характеры — а только отзвуки хрустальной музыки, отблески солнечного света над этим хлебным полем, не «настоящие люди», а те «мифологические звери» детства, какими их запомнил ребенок. Поэтому в этих сценках из детства нет ясной и отчетливой драматургии (жанр спектакля обозначен авторами как «семейные встречи», на самом же деле это и драма, и опера, и буффонада, и мистерия, границы размыты и разомкнуты, как я уже говорил).

Недаром все важнейшее, сокровенное, дорогое передается актёрами в сценах музыкальных — и здесь я бы среди создателей спектакля особо отметил Алексея Мусатова (в программке он даже не композитор, а лишь автор «музыкального оформления»). Стихи Тарковского поются очень бережно, и музыка эта не из разряда простых — но такой она и должна быть, и что самое главное — именно этот «спетый» Тарковский помогает нам понять всю музыку и всю философию этих вроде бы таких незамысловатых «семейных встреч», «детского альбома».

...Рассказы о том, как маленький Ася отморозил ладони, потеряв перчатки, как заблудился и его нашли, как он буквально преследовал по пятам точильщика с рынка, поскольку в детстве был «огнепоклонником».

Я, кстати, застал еще точильщиков в 60-е и даже 70-е годы в московских дворах, они ходили со своим нехитрым станком, с точильным кругом, который действительно производил завораживающие снопы огня, летящие во все стороны искры, целые маленькие фейерверки, пока точились на нем ножи и ножницы, что выносили во двор хозяйки.

Да, я помню этих точильщиков, старьевщиков, цыган и нищих, которые просто звонили по квартирам, но уже в мое время это была уходящая реальность, для современного же зрителя это просто некий миф из книжки...

Рассказ про братьев-близнецов Конопницыных, соучеников по гимназии, которых с трудом различала даже родная мать, и от этого то и дело возникали разные нелепости... О страшной встрече с дезертиром Первой мировой войны и о том, как за сестрой ухаживал «итальянский проходимец» Раппало. О странном детском помешательстве на обезьянах, в том числе выдуманных «марсианских обезьянах», и о страшном аресте брата в годы Гражданской.

Актёрам — на очень малом драматургическом пространстве эпизода — нужно передать этот «гул памяти», музыку памяти, с ее обрывочностью и резкими перепадами, и, на мой взгляд, делают они это вполне точно.

Человек реальный, земной, из «настоящей жизни» возникает в спектакле в самом конце — это эпизод, в котором использованы письма Арсения Тарковского и его матери. И здесь еще раз стоит вернуться к Сергею Тоньшеву и его сценической композиции. Найти эти письма и именно ими закончить спектакль — прекрасная идея.

«Мать А.» (актриса Алевтина Власова) говорит в этих письмах с сыном через огромные расстояния, через эпохи, годы, войны, разлуки — говорит о событиях

«текущей» жизни (в том числе о рождении детей, Андрея и Марины, своих внуков), но именно в этих размышлениях об обыденных, прозаических вещах проступают и ее огромная нежность, и ее боль, и ее чувство семьи, чувство жизни, чувство дома, которое она сумела передать сыну.

...Честно говоря, я даже не совсем точно представлял себе, где он, как назывался потом и теперь, этот самый Елисаветград, город детства Тарковского — и вот что выяснил уже после спектакля.

Да, это город в центральной Украине, который носил такое название до 1924 года, потом назывался Зиновьевск (по имени Григория Зиновьева, видного большевика, расстрелянного в годы «большого террора»), потом — до 1939 года — Кирово, до 2016 года — Кировоград, и после 2016-го — уже Кропивницкий.

...Сам перечень этих названий много говорит об истории нашей страны. Идентичность нации, страны, региона, города — вообще сложная вещь, а что уж говорить о человеке? Он тоже далеко не всегда понимает свою идентичность, путается в ней, ищет ее, наконец, находит, ошибочно или верно, кто знает. Кто он: житель империи или республики, той страны или этой, какой нации принадлежит, поэт он или герой, человек семейный или свободный от всех обязательств, это всё ведь еще только предстоит узнать.

В спектакле есть такой фрагмент (он повторяется в самом начале и в самом конце): читателю этих рассказов, пишет Тарковский, может показаться, что у книги есть только протяженность, что это просто набор разных историй, но на самом деле сюжет книги вполне закруглен, и сюжет этот — как человек доживает до глубокой старости... И, продолжает Тарковский, сюжет этот чудесен — ведь до старости вполне можно было и не дожить.

Мы смотрим на себя в зеркало, говорит он, — и видим кого-то другого, не того, кто внутри.

Ведь внутри нас — ребёнок. А смотрит на нас из зеркала — старик.

Эти, в общем-то, совершенно простые истины оказываются как никогда актуальны сейчас, когда снова идентичность у очень многих из нас — и внутренняя, и внешняя, и политическая, и национальная, и социальная, и психологическая — вновь оказывается под большим вопросом. И ее приходится пересоздавать заново. Но как?

Тарковский — как человек, который и «выжил», и «дожил», и не утратил связь с самим собой, — отвечает на эти вопросы. Может, именно для того и понадобились ему «детские» рассказы — обычно они становятся первой книгой, пишутся в литературной молодости, а ему захотелось написать их в конце жизни.

Жизнь Арсения Тарковского в этом смысле хорошая модель для тех, кто хочет не потеряться и не растеряться во вновь возникшем вихре исторических событий. Я бы даже сказал — рабочая модель.

# Summary

“DN” is 85 years old. And no matter how complicated the circumstances were the magazine kept working and was trying to work for recognition, comprehension, good neighborhood, creative collaboration of the national cultures all over the Eurasian space remaining faithful to the idea imbedded in its title. In this anniversary year we'll go on making our readers acquainted with those who are creating the modern literature and also reminding them of the brilliant names and bright pages of the past years of the magazine.

Under the heading “The Golden Pages of DN”

Poems by Vladimir Visotskij presented here are not only a collection of poetical works but fragments of Visotskij's life and fate. “Visotskij passionately, boyishly wanted to be published. He was eager to lock his singing verses into the metal cage of the typescript,” – underlined prefacing this publication Andrey Voznesenskij.

Arsenij Gonchukov. Over Gorkij-City

This is a long short story about a father and a son's interrelations during the hard and in many ways naive times called “perestroika”, about growing up in the environment of the total collapse, ecumenical resentment, misunderstanding and following regret.

Poetry

Poems by Sergej Pagin are tuning us to the new-year mood but in these special days one feels particularly acutely how one Time passes by and another takes its place.

The same “Chain of Transformations” is the subject of Vladimir Salimon's lyrics. Meditations over the “cycling of life” are not alien to Evgenij Chigrin as well as to the young poet Grigorij Knyazev.

Anna Voropaeva. The Far East: Blurring the Boundaries

“If one makes some parallel lines on the school board with the crayons of different colours and then passes over them with his palm – will they remain the same? If to settle some nations on one land for a long time – what will come out?” Sinologist Anna Voropaeva native and resident of Vladivostok answers to this question giving examples – sometimes very amusing – from her own experience.

Range of Reading: Names and Books

“...Sometimes, when reading the world news, one imagines that the History is being written now by some run-down writer who can't make the ends meet, allows the storylines to sag within ten pages, doesn't motivate the actions of the characters”. Literary critics summarize the results of the literary year 2023 and recommend what to read.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на

<http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,

вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

*Вёрстка: Елена ЖИРНОВА*

*Корректурa: Елена ЛАПШИНА*

*Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ*

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





## По страницам «ДН»

*«Можно ли остановить это “качание” истории между полюсами дробления-диалога и единения-хора? Вряд ли. Великие переселения народов (в новое время — мировые войны), сбивающие народы в армии, а государства в империи, чередуются с периодами “оседлости”, когда история окрашивается в пёстрые национальные цвета. Остановить это невозможно. Но можно почувствовать, куда идёт маятник. И в ЛЮБОМ случае, при ЛЮБОМ исходе — постараться очеловечить неизбежное. ...Сейчас мы не знаем, куда поворачивает мир, не знаем, куда идёт Россия, мы только вслушиваемся друг в друга, мы ждём, когда люди устанут от крови, от ненависти, от междуусобия. Мы не знаем, какое состояние — мозаичное или монолитное — даст людям передышку. Мы знаем только, что передышка — это вздох культуры. Национальной, интернациональной, региональной, мировой — любой, а какой — это станет ясно тем, кто придёт после нас. Наше дело — удержать дыхание. Или, если говорить на языке историков: по мере того, как будут решаться проблемы “национально-территориальные”, их надо переводить в “национально-культурный” ряд. Да это и естественно. Как только “боевики”, стреляющие с обеих сторон, нащупывают границу ТЕРРИТОРИЙ, их дети начинают через эту границу бегать друг к другу, и на месте территорий возникает пространство КУЛЬТУРЫ...»*

**Лев Аннинский. Территория и культура**  
1993, №9